

И. Г. Слепухина

ВОСПОМИНАНИЯ О БРАТЕ

Наши корни. Детство

Меня давно просили записать все, что я помню, и, с Божьей помощью, я постараюсь это сделать, хотя мне трудно писать о самом дорогом для меня человеке как о воспоминании.

Начну с детства, с наших родителей. Отец, Григорий Пантелеймонович Кочетков, был из казачьей военной среды, мама, Валентина Ивановна Беденко,— наполовину украинка, наполовину полька. Ее отец был управляющим в имении князей Барятинских, а мать, Елена Марьяновна Рудковская, — из польских шляхтичей. У них было большое процветающее имение где-то недалеко от Западной Украины, и пан Рудковский, спесивый, как большинство поляков, отверг предложение моего будущего деда, сочтя это мезальянсом (он тогда еще не был дворянином, дворянство было ему пожаловано незадолго до I-й Мировой войны). Бабушка была очень красива, мой будущий дед тоже. В семье Рудковских был еще и сын Юлиан, красавец и мот, и отец грозился, в случае, ежели он не образумится, оставить все наследство дочери. Это помогло лишь на короткое время, сын обещал исправиться, даже женился на юной, очень хорошенькой баронессе, но очень скоро снова заскучал и в самом конце XIX века все бросил, уехал путешествовать, и следы его затерялись где-то на Востоке. Последний раз его видели в Индии незадолго до начала I-й Мировой войны, в свите какого-то магараджи.

А вот сестра его Елена (наша будущая бабушка) была с характером, она сумела уговорить отца дать свое благословение на брак. У нас была их свадебная фотография, еще конца позапрошлого века, и я всегда любовалась ею, но, увы, наш дальний родственник взял ее показать жене и не вернул.

Бабушка прекрасно играла на фортепиано, дед — на скрипке, и мама рассказывала, что в детстве часами слушала их игру. Все свободное время дед посвящал детям (мама была младшей, была еще сестра Анна и братья Виктор и Георгий), привил им любовь к литературе. Одной из мер воспитания было обязательное семейное чтение: каждый вечер он собирал всю семью в гостиной и читал им вслух, а читал он, как вспоминала мама, прекрасно. Эти чтения и музыку любили все, но больше всех такие домашние концерты любила мама, она мечтала и сама играть, о том же мечтал и дедушка, рассчитывая дать ей музыкальное образование. Средства у него были, перед войной он уже собирался купить имение, но ушел на фронт, а потом случилось самое худшее — революция, и всем надеждам пришел конец. Семья разорилась, дедушка, видя гибель Отечества, слег с инфарктом, а в начале двадцатых умер от сердечного приступа прямо на улице (возвращаясь из какого-то совдеповского учреждения, где ему промывали мозги по поводу чуждого и антинародного сознания). Как пришлось жить семье — понятно. У братьев была отнята возможность учиться и работать, так как приходилось скрывать свою классовую принадлежность. Потом уже старый друг отца, при помощи липовых справок (где они были представлены как честные пролетарии) сумел устроить их в сельскохозяйственное училище. Царствие ему Небесное, в то время и это было большим риском. Пришлось им стать агрономами, хотя мечтали они совсем о другом: Виктор был «помешан» на истории, а Георгий хотел стать адвокатом. Старшая сестра после долгих мытарств устроилась секретаршей в какую-то убогую контору по заготовке то ли зерна, то ли овощей и этим кормила семью.

А мама не успела даже закончить гимназию, и мечта учиться музыке осталась неосуществленной. Вообще она была человеком творческим, хорошо пела, рисовала, писала стихи. К сожалению, незадолго до смерти она их сожгла, почему — не знаю, она отшутилась, сказала, что не хочет позорить сына, но дело, конечно, не в этом. Она не любила выставлять напоказ свои чувства. И внешне она была очень хороша. Умная, с волевым характером, она оставалась неис-

правимой идеалисткой и мечтательницей, с романтическим представлением о чести и рыцарском отношении к женщине. Кстати, это многое объясняет в характере и творчестве Юрия Григорьевича — она передала свое мироощущение сыну.

В двадцать пятом году обе сестры вышли замуж и таким образом спасли положение, которое до тех пор было тяжелым, хотя и не лишенным забавных эпизодов. У них на квартире одно время поселился комиссар, по счастью оказавшийся человеком порядочным. Конечно, он тут же занялся политагитацией их горничной Глаши, а под конец своего пребывания женился и увел ее с собой. Так вот, этот комиссар, услышав игру бабушки на фортепиано, пришел в восторг и с тех пор каждый вечер просил ее сыграть для него; к тому же он стремился читать и очень любил вести «светские» беседы, как он это понимал. Для этих случаев он обычно старался принарядиться, выглядеть бравым и подтянутым, а, появляясь в гостиной, церемонно просил: «Елена Марьяновна, а не могли бы вы сыграть мне пиэзы из жизни романсов...». Бабушка относилась к нему хорошо и всегда охотно играла. Потом через год Глаша пришла к ним с визитом — в шляпке с вуалеткой и маленькой болонкой на поводке — бабушка приняла ее как даму. Она вообще умела удивительно легко и просто вести беседы с простыми людьми. Наверное, сказалось то, что она родилась и выросла в имении, можно сказать, в самой гуще народа, и еще, конечно, получила хорошее воспитание. Впрочем, все «бывшие» были прекрасно воспитаны. Умение слушать и отвечать с участием зависит, прежде всего, от воспитания. К сожалению, в наше время это встречается крайне редко. У моего брата это умение было. Он умел слушать и сочувствовать, еще и потому, что не был равнодушным.

Наши родители встретились в двадцать четвертом году, маме было семнадцать, отцу двадцать четыре. Он был красив, но суров, настоящий донской казак. У них в роду вообще все мужчины были суровы и решительны. Его дед, например, отправившись в турецкий поход, вернулся оттуда с юной красавицей, которую похитил у турок, привез к себе на Дон, окрестил и женился.

Казаки начинали нести службу очень рано, поэтому отец прошел Первую Мировую войну, но в самом конце попал в плен и пробыл там несколько лет (почему-то их не выпускали, и слава Богу, вернись он раньше, непременно ввязался бы в Гражданскую войну). Пленившись немецким ведением крестьянских хозяйств, он, когда вернулся, загорелся наивной идеей и на Руси привить те же навыки, а потому поступил в Сельскохозяйственный институт (точно не знаю, как он тогда назывался) и стал агрономом. Видимо, на этой почве он и познакомился с братьями Беденко, а потом уже и с мамой. Увидев ее, он потерял голову, полюбив на всю жизнь. Очень скоро он сделал предложение, но бабушка просила его обождать год. Он ждал, встречаясь только по вечерам, в присутствии матери или старшей сестры, и не раз говорил потом, когда мы выросли, что это было самое прекрасное время его жизни, потому что эта чистота и сдержанность отношений наполняла чувства неповторимой прелестью. Как жаль, добавлял он, что современная молодежь этого не понимает. Что бы он сказал в наши дни!..

В двадцать пятом Григорий и Валентина поженились, в двадцать шестом родился сын Юрий, и с этого дня вся жизнь моей мамы была посвящена только семье и детям. До последнего своего часа она была нам лучшим другом, с которым жилось тепло, радостно и очень надежно. Многие считали ее властной и волевой, но, как бы то ни было, дай Бог каждому иметь такую мать! Наш отец порою сетовал — «для женщины ты, Валентина, слишком умна» — и целиком доверил ей наше воспитание. Сам он, будучи человеком молчаливым и суровым, не умел общаться с детьми, что всегда огорчало маму. До войны мы вообще мало видели папу. Это было время, когда, по примеру Сталина, страдавшего бессонницей, все управленцы (а папа был главным агрономом Северного Кавказа) работали непременно по ночам. Домой возвращались уже днем, на несколько часов. Это не способствовало ни хорошему настроению, ни общению с детьми, и жизнь его проходила как бы в стороне. Возможно, он оберегал нас, не хотел слишком привязывать к себе, понимая, что, как и всякий занимающий довольно высокий пост, мог быть арестован в любой момент.

Например, мой дядя Георгий, мамин брат, всегда держал дома на случай ареста уже собранный узелок с самым необходимым. Возможно, папу спасло то, что он никогда не состоял в партии, хотя его постоянно вызывали в НКВД и допытывались, почему, находясь на таком посту, он до сих пор не подал заявление — он же прикидывался дурачком и отвечал, что «не достоин». Хотя «садились» и без партийного билета. Георгия, в конце концов, тоже арестовали в конце войны и отправили в один из северных лагерей. Он был директором большого аграрного совхоза, поставлявшего зерно для армии, но на зерно позарились оккупанты. Дядька мой стал припрятывать, поелику возможно, это злосчастное зерно для наших. И кто-то из своих же «настучал» немецкому начальству (сказалась привычка, ведь планомерно, с 17-го года, учили предавать!), дядьку схватили, наорали и велели расстрелять. На его счастье расстрел доверили обычному солдату вермахта. Тот повел его в поле, пострелял в воздух и велел бежать. Это было уже незадолго до отступления, и дяде удалось как-то продержаться в бегах до прихода наших войск и даже сохранить припрятанное зерно. Однако ему не только спасибо не сказали, но тут же арестовали за сотрудничество с немцами — снова нашлась какая-то сволочь из односельчан, которая на него донесла. Такова была тогдашняя действительность!

Понятно, как тяжело было отцу: ведь он был настоящий казак и, конечно, не мог смириться ни с уничтожением казачества, ни с попранием Веры. Только по праздникам, дома, он позволял себе расслабиться и, выпив, начинал петь красивую и печальную песню, почему-то из времен покорения Кавказа («молитву Шамиля», как он ее называл), а иногда начинал танцевать что-то воинственное, а я смотрела во все глаза, и мне это очень нравилось. Потом праздник кончался, отец снова замыкался в себе и сутками пропадал на работе, всегда был очень сдержанным. Но со временем характер его изменился, и уже в Аргентине я его помню совсем другим. Он стал мягче, разговорчивее и старался найти с нами общий язык, особенно с сыном. Надо сказать, ему это удалось, они стали очень дружны. А мама всегда умела найти к нам подход, мы понимали друг друга с полуслова и даже вообще

без слов. Например, я не помню, чтобы она напрямую говорила со мной о советской власти, или о Сталине, но для меня все это было чуждо и вызывало чувство опасности. Как она это делала, не знаю, но «советским» ребенком, я, слава Богу, никогда не была, хотя все же успела на себе испытать силу пропаганды, которая в Союзе начиналась с детского сада. Я была очень застенчивым ребенком, и маму уговорили отдать меня в детский садик, дабы приучать к общению. Пробыва я там всего неделю. Однажды воспитательница, решив блеснуть своими достижениями, с радостью рассказала маме, как много она нам читает и как Ирочка хорошо все усваивает: «Вчера я им читала про Ильича, она так слушала! А сегодня, вы представляете, я захожу в Красный уголок и вижу: она стоит возле тумбы с бюстом Ленина и гладит Ильича по голове... я была так тронута!» Вот так я опозорилась и больше в детский сад не ходила. Мама с братом меня потом всю жизнь подраивали: «А помнишь, как ты оглаживала Ильича?»

Итак, мой брат родился 1 августа 1926 года, я же родилась уже восемь лет спустя, и потому осознанно помню его уже подростком. Но зато я хорошо помню все то, что о нем рассказывали мама, бабушка, и тетя Аня — мамина старшая сестра. Наверное, достаточно было бы привести слова нашей мамы, сказанные уже в самом конце жизни: «С первого дня своей жизни мой сын ни разу не обидел и не огорчил меня — только радовал»... разумеется, не считая болезней или его личных горестей, которые всегда заставляют страдать близких. То же могу сказать и я, потому что лучшего друга и защитника в моей жизни не было. Бабушка и тетя тоже очень его любили, всегда удивляясь его уму и прекрасному характеру. Уже в самом маленьком возрасте он часто уединялся и очень серьезно о чем-то размышлял. Как-то раз (ему было тогда три года) тетя его спросила: «Юрик, о чем ты сейчас думаешь?» Он посмотрел на нее очень серьезно и говорит: «Я сейчас ни о чем не думаю — мой мозг отдыхает». Она посмеялась и часто это потом вспоминала. В четыре года брат уже свободно читал, и эта страсть осталась у него на всю жизнь. В пять лет с увлечением читал Гомера, особенно Одиссею. У нас было еще дореволюционное издание с великолепными

иллюстрациями, переслоенными тонкой прозрачной бумагой; был среди них и Циклоп, которого он очень боялся и всякий раз, едва глянув, пугался, начинал плакать и бежал прятаться. Очень любил баллады Жуковского, потом, лет в десять, увлекался Фенимором Купером, Майн Ридом, Вальтером Скоттом, а лет с двенадцати уже читал Достоевского, Толстого и других классиков.

Сколько я его помню, он все свободное время читал, однако в детстве это не мешало ему быть веселым и шаловливым. В школе был общительный, ухаживал за девочками, а дома дружил с кузинами, дочерьми тети Ани, они часто у нас гостили. Старшая, Галина, была одних с ним лет, Марина на три года младше. Мне все они в то время казались недостижимо взрослыми и загадочными, хотя много со мной возились, постоянно что-то рассказывали и читали волшебные сказки из большой старинной книги. Я как сейчас ее помню: красная с золотом, называлась «Золотая книга сказок», а внутри чудесные иллюстрации Дорэ, каждая переслоена папиросной бумагой. Для чего я это вспоминаю? Мне это кажется очевидным — эту же книгу читал в детстве и мой брат. Книги были его стихией. Кстати, невольно размышляю: какие личности сформируются из теперешних детей, поглощающих информацию только из телевизора и интернета? Не любящих и не понимающих книгу? Лучше не думать...

Помню, что мы часто переезжали в связи с работой отца — то в Ростов, то в Пятигорск, потом в Ставрополь... И любопытно, что, несмотря на достаточно высокую должность отца, мы жили очень по-спартански, ничего лишнего, ни в одежде, ни в обстановке, ни в еде. Правда, мама занималась только семьей, и когда брат был маленьким, у него была няня, а потом, когда он подрос, в доме была домработница, вот и все «излишества». Нянюшка была с Украины, очень его любила и называла «суслычек ты мий...». Зато хорошие книги у нас были всегда, родители где-то умудрялись их доставать. Ведь в магазинах многих классиков просто не было, поскольку они считались классово чуждыми. Между прочим, эта привычка обходиться в быту только необходимым, без всяких излишеств, тоже сыграла положительную роль в его характере. В нашей жизни потом было много и нужды, и

великих трудностей, и несправедливости, но он всегда относился к этому достаточно спокойно, поскольку его ценности заключались совсем в другом. Он никогда не прилеплялся душой ни к деньгам, ни к вещам, ни к удовольствиям, поэтому в любых обстоятельствах внутренне оставался свободен.

В тридцать седьмом году многое изменилось, тетя Аня и ее муж Иосиф Биссе — чех и убежденный коммунист — были арестованы. В двадцатые годы он приехал в СССР учиться строить социализм, на чем и пострадал. Через пару месяцев после ареста его расстреляли, как врага народа, а тетю упекли в мордовские лагеря. Впоследствии тетя получила справку о том, что он реабилитирован посмертно, «за отсутствием состава преступления». Их старшую дочь Галину мама взяла к себе, а младший мамин брат Георгий взял младшую — Марину. Так семейство наше стало разрастаться.

Война. Оккупация. Угон в Германию

Началась война, мамин брат Виктор ушел на фронт, а бабушка, Елена Марьяновна, переехала к нам. Летом сорок второго года Ставрополь был оккупирован немцами. Наши власти, как всегда, скрывали истинное положение на фронте, поэтому все специалисты, которые должны были эвакуироваться (в том числе и мой отец), конечно, оказались в оккупации. Кроме партийного начальства, унесшего ноги загодя, причем тайно. Примечательно, что потом, после возвращения наших войск, все не успевшие эвакуироваться или вынужденные в оккупации где-то работать (людям ведь надо было кормиться), за редким исключением были репрессированы. Наша семья избежала этого только потому, что, отступая, немцы прихватили с собой немалое количество трудоспособного населения для работы в Германии. Среди них оказались и мы. Хорошо, что незадолго до немецкого отступления бабушка попросила переправить ее в соседнюю станицу, где жила семья ее второго сына Георгия, и отцу это как-то удалось. Иначе она бы осталась одна — кому в Германии была нужна старая женщина? Старший сын, Виктор, не вернулся с войны, младший, Георгий, «сидел». Дочь Анна, незадолго перед тем выйдя из лагеря, не имела права на

работу нигде, благодаря отметке в паспорте. Промыкавшись и наголодавшись, она смогла устроиться только на очень тяжелую работу в деревне, где и ослепла от непомерно тяжелой работы и голодухи. Больше мы с бабушкой не встретились, она умерла в 1953 году, в большой нужде. Перед угоном нас в Германию она, прощаясь, взяла свою иконку Божьей Матери «Знамение», благословила каждого, и передала её маме. Икона эта и по сей день с нами, небольшая, потемневшая от времени, в простой деревянной рамке.

Как нам приходилось в оккупации — особая тема, но все можно очень хорошо себе представить по книге Юрия Григорьевича «Тьма в полдень», поэтому не буду этого касаться. Но страшное впечатление осталось об уничтожении несчастных евреев, до сих пор помню, как их гнали по улицам, с детьми, стариками...

В конце сорок второго немцы отступили, прихватив с собой и будущих остарбайтеров, — так начался наш исход. Отступление было долгим и тяжелым, нас везли в каких-то старых, открытых грузовиках, которые все время ломались, а стоял уже декабрь, и морозы были ужасные. Такой мне и запомнилась Россия: бескрайние снежные просторы и свирепая стужа. Мне было восемь лет, и меня с мамой посадили в кабину грузовика. А отец, с братом и Галиной, мерзли наверху, в открытой полуторке. Хорошо, что были тулупы, валенки и куча платков поверх меховых шапок, но все равно они, бедные, жутко мерзли. При этом отступающие войска наша авиация старалась бомбить как можно чаще, хотя, насколько я помню, тогда с этим было туго. Но все равно, даже от наших «кукурузников» страху мы натерпелись — то машина заглохнет, то в другую, где-то рядом, попадет бомба и ее, горящую, пытаются столкнуть с дороги. К тому же, уже ближе к Украине, появились партизаны. Один раз, напав на такой отставший обоз из своих же русских пленников (а кто мы были? разве не пленники?), они всех вырезали.

Иными словами, опасность стерегла со всех сторон. Но Господь нас уберег, мы в целостности пересекли русские земли, Украину, правда не сразу. Там нас задержали, формировали эшелон, чтобы уже поездами отправить в Германию.

Какое-то время пережидали в Виннице, где-то возле румынской границы, помню, там как раз в то время были обнаружены совсем недавние, массовые захоронения наших несчастных репрессированных «врагов народа», расстрелянных НКВД. Немцы, обнаружив их, конечно, предложили населению искать своих (вещи-то еще сохранились), и люди находили, и стоял в городе стон и плач... до сих пор помню. Ну а потом (сделав отлов и среди украинского населения, главным образом, молодежи) нас загрузили в товарные вагоны и повезли, через западную Украину. Помню Львов, а дальше названия городов и местечек путаются — забылось.

Во Львове брат с отцом едва не отстали от поезда: пошли с чайником добыть кипятка — а поезд возьми да и двинься раньше времени. Мы с Галиной ревели в два голоса, пытаемся куда-то кидаться, и если бы не мама, которая железной рукой нас пригвоздила к месту и заставила держаться, то мы бы от страха чего-нибудь бы точно натворили. Но поезд двигался очень медленно, а потом и вообще подергался и заглох на целую ночь возле какой-то пригородной станции, что и позволило нашим мужчинам нас догнать, хотя с трудом и натерпевшись не меньшего страха. Кстати, такие случаи бывали не редко. Помню, когда мы позже плыли в Аргентину, на нашем пароходе были отец с дочерью, тоже бывшие оstarбайтеры. Отец рассказал нам, что точно таким же образом он во время войны потерял жену и сына, которые тоже вышли за кипятком и отстали, потерявшись на годы. Но самым поразительным был финал этой истории. Примерно через год или два в Аргентину с новым транспортом эмигрантов прибыли некие мать с сыном, оказавшиеся той самой потерянной и оплаканной половинкой семьи... а встретились неожиданно, в церкви, и сначала не могли поверить ни своим глазам, ни своему счастью... их поздравляла вся колония, и мы все радовались за них.

Наш поезд почему-то двигался не спеша, а возле германской границы его вообще задержали, решив предварительно нас обработать от возможных паразитов и инфекций. Эта обработка осталась у меня памяти как нечто библейское, из глубокой древности. Так мы пересекли границу и оказались в Германии на положении оstarбайтеров. А это значит —

трудовые лагеря, расчистка завалов, баланда, и страшные ночные бомбардировки союзников... а еще наши несчастные пленные — их часто перегоняли с одного места работы на другое, так что мы их видели — истощенные, оборванные, голодные и серые, как тени. Больно было на них смотреть, больно даже теперь, когда вспоминаешь, — еще одно из преступлений Сталина! Ведь все могло быть иначе: перед войной к нему приезжали представители Международного Красного Креста с предложением подписать конвенцию о статусе военнопленных, но он ответил: «у нас не может быть пленных — могут быть только предатели» и не подписал, чем обрек своих пленных на гибель. Ну, а немцы есть немцы, они пунктуально следовали конвенции, раз русских там не было, значит, мы вне закона. Чудовищно, конечно, но это враги... впрочем, врагом был и наш «отец народов». Несмотря на детский возраст, я это хорошо понимала и боялась его смертельно. Когда мне снился Сталин, а он мне почему-то снился часто, я кричала и просыпалась в слезах. Наверное, дело в том, что мама всегда разговаривала с нами, даже с детьми, как со взрослыми, а это заставляло думать, анализировать. Я видела наших несчастных пленных и видела других, тех же поляков, которых немцы ненавидели гораздо больше, чем русских, за их гонор и постоянные восстания. Но в немецком плену они содержались в сытости и тепле, получая все, что им полагалось по международному праву, поскольку Польша в свое время эту конвенцию подписала. Сделать вывод было нетрудно, и я его сделала.

Пережить нам довелось немало, бывали очень тяжелые и страшные ситуации, однако брат мой никогда не впадал в панику, не злился, не раздражался и всегда старался доставить какую-нибудь радость семье. Он был очень серьезен, характера ровного, доброжелательного и постоянно о чем-то думал. С посторонними в юности он был застенчив, молчалив, а дома, с нами, разговорчив (хотя и любил уединяться для размышлений), внимателен, тактичен и очень заботлив. Обычно юноши доставляют немало хлопот и неприятностей, с ним же этого не было никогда, общение с ним доставляло только радость. С Юрой было невероятно интересно, потому что даже в юности он уже знал очень много и мог

ответить на любой вопрос, рассказать массу интересного. Позже он вообще стал человеком огромной эрудиции, и все это благодаря постоянному чтению, к тому же у него был светлый ум и огромный талант. Все это сделало из него глупого человека и прекрасного писателя.

Сначала нас привезли в город Эссен, где было много заводов оборонного значения, что делало его лакомым куском для англо-американской авиации. Нас, остарбайтеров, поселили в помещении бывшей школы, заставленной теперь лагерными нарами, у каждого был свой закуток, в котором он и ел, и спал в свободное время. Кормили баландой из овощей, немного черного хлеба и эрзац-кофе, подслащенный сахарином. Боже, как же мне тогда хотелось сахара! А еще больше мирного неба, чтобы не слышать этого страшного, давящего гула бомбардировщиков, от которого словно прогибалось небо. Мир без войны и вдоволь сладкого чая с хлебом казались пределом счастья — как же быстро люди все забывают! Бомбили главным образом по ночам (страшнее и больше эффекта), а утром всех гнали на расчистку завалов, а потом по месту работы — кого куда. Брат работал на каком-то частном заводике, вроде бы консервном. Кормить своих остарбайтеров должен был сам хозяин, и, слава Богу, по тем временам кормил он их вполне прилично — вареная картошка, политая чем-то вроде соуса из красной капусты. Я как сейчас вижу его алюминиевый котелок (он был у каждого рабочего вместо посуды) с мелкими картошинами в розово-сиреневом соусе, мне это казалось безумно вкусным; чтобы нас подкормить, он всегда приносил не меньше половины, притворяясь, что сыт и больше ему не съесть.

Он всегда был очень заботлив и однажды едва не поплатился за это. Их послали расчищать разрушенный накануне в ночном налете жилой дом, и там, в одной из квартир, полуобрушенной и заваленной щебнем, ему попался развалившейся чемоданчик, полный разноцветных лоскутов, и он решил меня порадовать. Дело в том, что у меня была маленькая деревянная куколка, которую он сам же мне и вырезал, причем очень искусно, ручки и ножки у нее были на резинках, поэтому двигались как у настоящей. Я очень любила шить ей платья, только из чего? И вот он стал рассо-

вывать лоскуты по карманам, и в этот момент на пепелище вернулась хозяйка квартиры. А нужно помнить, что законы военного времени были суровы и за мародерство полагался расстрел — поди, объясни, что это всего лишь лоскуты для куклы! В общем, фрау, не разобравшись, подняла крик, требуя наказать «мародера», а когда брат стал объяснять, что это для сестреники, для ее куклы, она еще пуще рассвирепела и долго вопила, что это неслыханное свинство — в то время как немецкие дети гибнут под бомбами, дети унтерменшей играют в куклы! Однако потом махнула рукой и отпустила.

Похожий случай произошел и в самом конце войны, уже в марте сорок пятого года, но куда более опасный. Мы тогда находились возле голландской границы, и совсем уже близко подступали войска союзников. Немецкие войска бежали, по пути реквизируя всю возможную технику, даже лошадей с телегами, лишь бы унести ноги, а уж о велосипедах и говорить нечего, их было приказано всем сдать на нужды вермахта, а за укрывательство — расстрел. Мы тогда работали в имении немецкого барона фон Гюльхера, и он выделил нашему отцу, как уже немолодому человеку, старый велосипед, чтобы отец больше успевал по хозяйству. Папа его берёт, но все же не доглядел — его украли. Конечно, он огорчился, поскольку снова пришлось целый день быть на ногах. И тут моему брату вдруг попадает в лесу брошенный возле тропинки велосипед, тоже старый, но вполне еще годный. Ему бы пройти мимо, но он вспомнил про отца и решил сделать ему подарок, а заодно и восстановить справедливость: папин-то украли. Он подкатил к домику, где мы тогда жили, очень довольный, но едва успел похвалиться своей находкой, как за ним вслед прикатило несколько мотоциклистов, и мы с ужасом увидели зловещую форму СС, это были не обычные солдаты, это были эсэсовцы! А злополучный велосипед красовался у самых дверей. Возможно даже, это был их велосипед, который они почему-то оставили в лесу, считая, что никто не посмеет его увести. И мы пережили по-настоящему ужасные минуты. Факт угона был налицо, и хотя мы и попытались сделать вид, будто думали, что велосипед бесхозный, уловка не удалась, и немцы орали, ругались и грозились пристрелить похитителя, сознательно нанесшего

урон отступающим частям вермахта, да еще в столь тяжкий час. Увы, они имели на это право, ибо все были предупреждены! Придя к этому выводу, главный из них, какой-то младший офицерский чин, достал гранату и направился к брату, грозно сверля его глазами. Опасность была очень реальна, этот офицер действительно имел право пристрелить кого угодно, но, слава Богу, все обошлось. Нагнав на всех страху, он ограничился тем, что дал нашему «злоумышленнику» по шее, после чего они забрали велосипед и с треском укатили. К чему я это рассказываю? Полагаю, такие мелочи неплохо характеризуют человека и время, да и просто вспомнилось. Я ведь пишу не роман, где каждый эпизод должен работать на основной замысел. Это реальная жизнь, и как она мне запомнилась, так и постараюсь отобразить. И потом, у меня всегда было такое чувство, что Господь хранил брата, а заодно и нас. Полагаю, что оба эти случая служат тому иллюстрацией.

Уже не помню, сколько времени мы пробыли в лагере в Эссене, помню только, что было очень тяжело и страшно. Каждую ночь бомбили, и бомбежки все увеличивались по своей мощи, и так каждую ночь. Люди забивались в убежища и терпеливо ждали, понимая, что каждая ночь может стать для них последней. А потом нам неожиданно повезло, в лагерь приехал барон фон Гюльхер, пожелавший приобрести даровую рабочую силу для своего имения. В лагере с такой же целью постоянно появлялись предприниматели или хозяева более мелких хозяйств и всегда кого-нибудь увозили (лагеря дополнительно служили чем-то вроде невольничьего рынка). И вот не знаю уж почему, но наше семейство ему приглянулось, и он нас увез с собой. Останься мы в Эссене, вряд ли были бы живы — через пару месяцев после нашего отъезда город практически уничтожили, союзники умели это делать. А замок нашего барона располагался недалеко от голландской границы, в сельской местности, рядом только маленькая деревня — Аппельдорн. Это уже было большим везением, на какое-то время мы избавились от чудовищных бомбежек союзной авиации, которым подвергались немецкие города. К тому же барон оказался порядочным человеком и никогда не пользовался своей властью во зло. Кроме

нас, у него уже жило еще человек двенадцать русских, и он со всеми обращался достойно. Поселили нас в маленьком деревенском домике, недалеко от замка, и отцу с братом пришлось постигать секреты животноводства (в имении было много коров, лошадей, да и вообще всякой живности).

Наша Галина в хозяйстве не понадобилась, и барон устроил ее неподалеку — в курортном городке, в маленьком отеле, принадлежавшем двум пожилым сестрам, у них уже жили две девушки с Украины, примерно такого же возраста. Их обязанностями были уборка и помощь по приему и регистрации постояльцев. Хозяйки были безобидные, сентиментальные и тоже хорошо относились к своим «рабыням», чем те и не замедлили воспользоваться, почти сев им на головы. Они ели, пили, что хотели, нанося ощутимый урон запасам отеля, и бедные экономные немки только хватались за голову и беспомощно уговаривали, что так наедаться нельзя — «нихт гезунд»! Выходные они себе тоже определяли сами, поэтому Галина бывала у нас часто, прикатывала на хозяйском велосипеде (городок Клеве был неподалеку) и со смехом рассказывала, что они там вытворяют.

Мама же помогала по хозяйству: или на кухне, или с шитьем (она хорошо шила), но не каждый день, только когда в замке бывал аврал. Тогда в наш домик посылалась служанка с просьбой в такой-то день прийти помочь, или же приходила сама старая баронесса, мать Гюльхера, всегда очень вежливая и приветливая. Я же все время была при маме; собственно это из-за меня маму не загружали работой, считая, что раз в семье есть маленький ребенок, то делать это нехорошо. Возможно, кто-то скажет, что такого не могло быть, но зачем я стану клеветать на людей, которые этого не заслужили? В Германии было разное, притом очень полярное, обращение с людьми. Были страшные лагеря, было бесчеловечное отношение к нашим пленным, был геноцид, но были и порядочные, добрые люди, которые, стыдясь политики Гитлера, старались помочь, чем могли. Такие встречались даже среди членов нацистской партии. Кстати, наш Гюльхер тоже был член нацистской партии, и когда у них там случались какие-то съезды, облачался в коричневую форму со свастикой на рукаве, высокие блестящие сапоги и на какое-то

время исчезал. Да и нам ли судить? Вспомним, что творилось у нас, начиная с семнадцатого года, каким жестоким и бесчеловечным стало общество. Я хорошо помню (к несчастью, видела собственными глазами), как свои же русские (я имею в виду конвоиров) издевались над своими же, попавшими в плен, а наш ГУЛАГ и подвалы НКВД, кто там хозяйничал? А раскулачивание и фактически крепостное право для своих же крестьян? А уничтожение казачества? Я уже не говорю об уничтожении Церкви, интеллигенции и вообще всего лучшего в народе! Уже тогда, еще ребенком, я поняла, что люди есть люди и от них можно ждать чего угодно, вне зависимости от национальности.

Хорошо помню лето 20 июля 1944 года, когда было совершено покушение на Гитлера, и то, с каким огромным интересом мой брат слушал новости и прислушивался к разговорам. Но лучше я отошлю читателя к его роману «Сладостно и почетно», там все это подробно описано.

Крушение Третьего Рейха. Освобождение союзниками

В общем, судьба дала нам передышку, но недолго. В конце сорок четвертого союзные войска подступили к границам Германии (в точных сроках я, конечно, могу путаться), пытаюсь удержаться, немцы огрызались, как могли, но рано или поздно отступали. А потом уже после Нового, сорок пятого года, началось тотальное отступление. Союзные войска наступали со стороны Голландии, а потому тихая местность вокруг нас превратилась в кромешный ад. Надо сказать, они берегли своих солдат, но какой ценой! Прежде чем пустить свои части, они разутюживали все, что лежало впереди, совершенно не считаясь с мирным населением. Вокруг нас не было военных объектов или скопления войск, лишь маленькие городки, где кроме госпиталей ничего относящегося к войне не было, причем на крышах этих госпиталей, как предписывает международное право, были растянуты белые простыни с огромными красными крестами. Но разве это их остановило? Они начали свою кровавую работу задолго до настоящего дня наступления; день и ночь шла эта бессмысленная бомбежка, дрожала земля, небо гнулось под тяжестью

сотен бомбардировщиков. Они летели нескончаемым потоком, долетали до нужного места, сбрасывали свой груз и разворачивались назад. А навстречу им уже приближался другой смертоносный поток.

Боже, что это был за адский фейерверк! По ночам горел весь горизонт, там — подальше — горели большие города, над которыми беспомощно металась лучи прожекторов и тяжелыми сгустками лился с неба горящий фосфор, здесь — совсем близко — погибали маленькие городки или деревни, все, что попадалось на пути; и, казалось, само небо охвачено клочущим пламенем, а от дыма пожаров пресекалось дыхание, даже из одежды долго потом не выветривался этот страшный запах.

Вообще крушение Рейха походило на Апокалипсис, и порой становилось невыносимо жутко. А вот итальянские военнопленные не теряли оптимизма, хотя находились почти в таком же плачевном состоянии, как и наши советские пленные, поскольку Гитлер, после капитуляции Италии, объявил их предателями (как и Сталин своих) и велел обращаться так же. В последние месяцы сорок четвертого их к нам в Аппельдорн нагнали очень много, зачем-то рыть траншеи, и как раз в поле перед нашим домишком, так что мы на них насмотрелись и послушались. Голодные, оборванные и совершенно несчастные, они все же старались казаться веселыми и все время распевали знаменитые арии из своих итальянских опер. Причем голоса — один лучше другого. Помню, они повадились к нам просить еду, и мама всегда их подкармливала, а они в благодарность пели еще краше, особенно арию Тоски, поскольку узнали, что это ее любимая. В феврале сорок пятого их куда-то угнали, и они, проходя в последний раз мимо нашего домика, кричали на ломаном русском «до свидания, мамма!» и посылали воздушные поцелуи.

Итак, уже миновали первые месяцы сорок пятого года, и, наконец, наступили последние месяцы войны — все шло к развязке. За это время в замке произошли перемены. Сначала там разместился госпиталь (потом его тоже разбомбили), а затем был получен приказ от какого-то военного начальства: всем, у кого имелись оstarбайтеры, предписывалось своими средствами переправить их за Рейн, в глубину Германии,

подальше от линии фронта. Получил такой приказ и наш барон и даже сам пришел сообщить нам, что вынужден подчиниться приказу. Мы, конечно, были огорчены, ибо уже надеялись дождаться конца войны в нашей деревушке, которая милостью Божьей так и осталась почти нетронутой. К тому же мы понимали, что там недалеко и до Восточного фронта, а это было бы катастрофой. Мы все были хорошо осведомлены о том, как расправлялись наши войска со своими же остарбайтерами и даже с пленными, которые все без исключения были настоящими мучениками. Перспектива была ужасной, но делать нечего, и в назначенный день к нашему домику подкатила телега, нас погрузили и повезли. Барон тоже был здесь, он сопровождал нас верхом на лошади, чтобы сдать в положенном пункте. Он всегда старался ездить верхом, поскольку сильно хромал, отчего и не попал в армию, хотя ему не было еще и сорока. В общем, нас повезли. Дело было уже к весне, погода была сырой и холодной, и так случилось, что накануне я заболела, видно простыла, и в этот день лежала у мамы на коленях очень слабая и с явной температурой. Гюльхер сразу обратил на это внимание и потом, пока мы медленно двигались в обозе (обоз получился немалый, в сельской местности трудилось много остарбайтеров), несколько раз подъезжал и спрашивал, как себя чувствует девочка. А я чувствовала себя очень плохо, и это нас спасло — поистине моя болезнь явилась промыслом Божиим. Подъехав в очередной раз к нашей телеге, барон какое-то время ехал рядом, часто на меня поглядывая, потом хлестнул свою лошадь и куда-то ускакал. Его не было, наверное, с час, а потом он появился очень довольный и велел нам поворачивать назад, к дому. «Я обо всем договорился, — сказал он, — объяснил там, что ребенок болен и нуждается в домашнем уходе, — и добавил многозначительно: — да и для всех вас так будет лучше...» Думаю, что он имел в виду то же, что и мы. До сих пор я вспоминаю с благодарностью этого человека. Если бы не он, мы бы запросто могли погибнуть. Кстати, вечером того же дня, когда мы вернулись, наконец, в свой домишко, стало известно, что переправу через Рейн, по которой двигался поток беженцев, разбомбили, и не вернулись мы назад, скорее всего, угодили бы в эту мясорубку.

С этого времени отступление было уже тотальным, причем отступали не только войска, но и мирные жители, напуганные наступлением союзных армий, хотя куда им было бежать — не представляю, ведь с востока наступали наши войска, а это для них было куда хуже. Решил отступить и наш барон, с семьей. У него была молоденькая жена и двое маленьких сыновей, белокурые и хорошенькие, в маму. А еще его мать и сестра. Вот с таким семейством он и покинул эти края, и мы от всей души пожелали ему удачи. Перед отъездом он приехал к нам на своей лошади и посоветовал отсюда никуда не двигаться. «В замке достаточно запасов, — сказал он, — еды хватит всем. Сидите и ждите англичан, они не заставят себя долго ждать». Это был разумный совет — мы так и поступили.

Очень скоро к нам в домишко стали подтягиваться остарбайтеры, оставшиеся без хозяев (видимо, бежавших). Во-первых, у нас при домике был большой сарай, где можно было очень удобно ночевать в сене, а во-вторых, они прослышали, что в замке можно было раздобыть и пищу. Вот так мы обросли соотечественниками, но очень скоро пожалели об этом, поскольку они превратили наш домик в трактир. В считанные дни, раздобыв в имении сахарную свеклу, они организовали самогоноварение (благо, делать теперь было нечего) и принялись гнать самогон день и ночь, снимая пробу тут же, не ожидая, пока остынет. В общем, веселились на славу. Они и плясали, и ревели гнусными голосами, ломились в жилые комнаты для душевных разговоров, а потом валялись полумертвые, где попало. Была еще ранняя весна, достаточно сырая и холодная, но это не мешало им дрыхнуть прямо на земле, а то и в лужах. Казалось бы, пневмония обеспечена, — ан, не тут-то было! Наши герои, когда нас увозили англичане, покинули Аппельдорн целенькими и здоровенькими как огурчики. Не помню уже, сколько времени продолжалась эта вакханалия, но кончилось тем, что моя мама, которая ненавидела пьяных, каким-то образом сумела это прекратить, и они перебрались в другое место, втянув при этом в свое предприятие одно заблудшее семейство местных крестьян. В деревне было одно такое странное семейство. Странное, потому что были они крайне ленивы и

неопрятны, а для немцев это большая странность, недаром в деревне их считали паршивыми овцами. Вот эти овцы и прибились к нашим гулякам, и, похоже, были очень довольны.

Бомбежки между тем не прекращались, только к ним еще прибавился артобстрел, ведь англичане были уже на подходе, а, следовательно, страховались. Кругом все рвалось, все кипело в дыму и пламени, а наша деревушка, маленький пятачок в этом аду, оставалась целой и невредимой. Даже снаряды только пролетали над нашей головой, достигая свою цель где-то там, дальше. Они летели один за другим, без передышки, словно огненная дуга, прочертившая небо от края до края, до самого горизонта, и так могло длиться часами. Особенно красиво это смотрелось ночью, красиво и жутко.

Что делал в это время мой брат? Наверное, то же, что и все,— ждал. Ждал, наблюдал, и все время о чем-то думал. Он вообще любил уединяться и думать, а когда были книги — читать. Но там книг не было, поэтому он много думал, и, как потом признался, уже вынашивал образы будущих героев и сюжет своей первой книги («Перекресток»). По вечерам они с мамой много разговаривали о книгах, о жизни и, конечно, о политике (папа присутствовал, но больше слушал). Я тоже слушала, и мне их разговоры были очень интересны. Несмотря на свой малый возраст, я многое понимала, и, наверное, поэтому с особым интересом прислушивалась к политическим прогнозам, они для меня были как бы своеобразной приправой к вечерней сказке.

Помню, как еще в самом начале наступления англо-американцев (они в то время вели бои еще во Франции) мы все гадали — с какой же стороны они вторгнутся в Германию? У нас к этому времени появилась довольно хорошая карта Европы (нам ее притащила моя кузина Галина из отеля, где она работала). Вот эту карту мы и штудировали, споря, где именно это произойдет. Насколько мне помнится, по слухам, а главное, по спешно возводимым укреплениям, немцы ожидали их совсем в другом месте, а наша мама, как это ни забавно звучит, угадала действительное. Она внимательно изучила карту, подумала и, взяв карандаш, отметила крестиком какое-то место возле голландской

границы. «Будь я Монтгомери, я бы вторглась только тут...». Наступление началось именно в том самом месте, а мы с тех пор шутливо называли маму маршалом. Как я уж говорила, это было время ожидания и великих надежд, которых, увы, мир потом не оправдал! Впрочем, как всегда. Подходила к концу Вторая Мировая война, фашизм был обречен, казалось бы, достаточно причин для радости и надежды. И мы тоже радовались и надеялись, хотя и с большой опаской. И дело не только в том, что каждый из нас в любой день мог погибнуть при налете, артобстреле или просто от шальной пули, а в том, что Зло было уничтожено только наполовину. Да, Гитлеру с его чудовищным Рейхом наступил конец, но оставался еще Сталин и его империя — ничуть не меньшее зло, и этого со счетов было не сбросить. Хотя многие сбросили, или вообще так ничего и не поняли, по сей день. Но мы-то понимали, а потому надежды наши были отравлены тревогой, и, как показала жизнь, не напрасной.

Шли последние месяцы войны. В феврале стало известно о бомбежке Дрездена, и я помню, как в нашей маленькой колонии остарбайтеров разгорелся по этому поводу великий спор, весьма ожесточенный. Одни сочувствовали, но многие злорадствовали, кричали, что так им и надо, пусть на своей шкуре почувствуют! Небось, сами войну развязали, чего, мол, теперь их жалеть! Брат не любил этих разговоров, вставал и уходил. Он считал, что жестокость никогда и ни к кому не оправдана — помню, он был потрясен варварством союзников (кстати, в Дрездене тогда погибли не только немцы, но и тысячи остарбайтеров и военнопленных, среди которых были также и англичане), и все это только ради устрашающего эффекта. Но зачем? Германия и так уже была разгромлена, а в самом Дрездене кроме культурных ценностей, да госпиталей, ничего относящегося к военным объектам вообще не было, и немцы наивно верили, что ни у кого не поднимется рука на эту жемчужину мировой культуры. Многие стремились туда, спасаясь от чудовищных бомбежек англо-американской авиации. Увы...! Потом, уже спустя годы, Юрий Григорьевич описал гибель этого несчастного города в своем романе «Сладостно и почетно», третьей части его тетралогии о войне.

Но, похоже, я отвлеклась. Итак, союзники уже рвались к границам Германии, с каждым днем наращивая разрушительную мощь своих налетов и артобстрелов, кругом творилось нечто ужасное, казалось, наступил конец света, и для многих тысяч, сотен тысяч людей так оно и было. Немецкие войска отступали, вернее, уже бежали, но все еще пытались сопротивляться. Например, в Арденнах им удалось нанести очень большие потери союзным частям (кажется, это были английские парашютисты) — немцы там дрались уже как смертники, опрокинув все расчеты союзного командования. Пытались они защитит себя и с воздуха, но это было безнадежной задачей, хотя, конечно, им тоже удавалось сбивать самолеты противника.

Вот так и у нас, в Аппельдорне, однажды рухнул подбитый английский самолет, прямо в поле, напротив нашего домика. К счастью, это был не бомбардировщик (а может, возвращался пустой, уже не помню), иначе нам пришлось бы туго. Он горел на наших глазах, но помочь было невозможно, все там погибли в момент падения, при взрыве. Спустя день или два прибыли какие-то военные, насколько помню — летчики, обследовали то, что осталось от самолета, затем похоронили останки английского экипажа, отдали честь и возложили венок от немецкого Люфтваффе. Вот такая деталь.

Помню, наши земляки, наблюдавшие за происходящим, опять же не сошлись в оценке этой сцены. Одни считали, что на такой страшной войне красивые жесты ни к чему, другие сочли их лицемерами, третьи пожалы плечами и назвали их придурками: «видать, еще мало им врезали...». Я тогда спросила мнение брата по поводу этого спора, и он ответил, что чем бы ни был вызван этот жест, это был достойный поступок, жаль, что понимание этого ушло из нашего обихода: в прежней России их бы поняли. Кстати, детали для самогонного аппарата (о котором я писала выше) наши земляки сумели извлечь именно из этой полусгоревшей груды металла, чем привели в изумление местных жителей — те до такого не додумались. В дело у них пошло все — одно на аппарат, остальное для торга. Они даже умудрились продать окрестным крестьянам, вернее, обменять оставшийся металлолом, для чего — непонятно, но главное

— к обоюдному удовольствию. Так что очень скоро от рухнувшего самолета не осталось и следа — лишь белый крест и железный венок.

Итак, отступление было уже тотальным, страх перед неизвестным будущим тоже, но вот еще одна любопытная деталь: даже в таком хаосе представители власти, или те, кто еще пытался играть эту роль, продолжали выдавать населению положенные пайки продуктов и угля вплоть до самых последних месяцев, в апреле стало уже не до этого. Пайки были, конечно, очень скудные, но все же... ну а мы все, вместе с пришлыми остарбайтерами, питались за счет покинутого хозяйства барона Гюльхера, и нам никто не мешал. Интересно, что имение не разграбили, и оно продолжало функционировать, за ним присматривали местные крестьяне и те, кто давно там работал. Примерно в это же время к нам вернулась наша кузина Галина, работавшая в соседнем городке Клеве, который потом сравнивали с землей. Её хозяйка продала свой отель и куда-то переселилась, благодаря чему Галина смогла перебраться к нам, власти к тому времени уже махнули рукой на проблему остарбайтеров, им было не до нас. Таким образом, вокруг нас сгруппировалась целая маленькая колония, и для нас наступило время ожидания...

Верные своей привычке, англичане оповестили о своем приближении массированным артобстрелом, перелопатив все поля в округе, погубив много скота и строений (людей погибло меньше — мы все отсиживались в погребах). За чем-то снесли старинную башню замка, на которой, кстати, было вывешено белое полотнище с громадным красным крестом — в замке разместился госпиталь, но для них это тоже было типично. Обстрел длился не менее суток, за чем — непонятно, они ведь прекрасно знали, что в этой деревушке военных объектов нет, солдат тем более, и никакого сопротивления не будет. Наконец (видимо, они отстреляли положенное) наступила тишина, и мы решили, что вот теперь-то пришла пора появиться и самим томми, но не тут-то было. Прошло еще не менее суток, в течение которых они где-то затаились, наверное, приглядываясь к обстановке, и только потом осторожно двинулись вперед.

Помню, мы все были удивлены такой чрезмерной осторожностью. Население Аппельдорна тоже осторожничало, никто ведь еще не знал, чего ждать от англичан, поэтому мы все продолжали отсиживаться в своих погребах, напряженно прислушиваясь к каждому звуку.

И вот у дверей нашего домика, судя по звуку, остановился джип, хлопнула дверь, и над головой послышались шаги. Мы замерли, не зная, что делать — то ли выйти, то ли ждать, но тут наше убежище обнаружили, дверь заскрипела, и по темной лестнице нашего подвальчика (света у нас не было) заметался яркий луч карманного фонарика, а следом показалось нацеленное дуло автомата. Наш «освободитель» (так называли себя союзники) стал осторожно спускаться, угрожая поводить автоматом, потом остановился и спросил на ломаном немецком, есть ли в доме или среди нас солдаты Вермахта. Брат заверил, что таковых не имеется, но они (их было двое) сами все проверили, внимательно оглядев каждого, после чего сразу ушли, потеряв к нам всякий интерес. Так состоялось наше первое знакомство с англичанами. Это было уже в апреле сорок пятого года.

Несколько дней мы прожили в подвешенном состоянии, не ведая, что будет дальше, а потом пришел приказ от английского коменданта всем «перемещенным лицам» (так теперь называли бывших остарбайтеров) пройти регистрацию для дальнейшего решения этой проблемы. Проблема действительно была. В Германии к тому времени скопились целые орды вот таких «перемещенных лиц», вдобавок военнопленные и узники концлагерей. Помимо всего прочего, всех еще нужно было накормить, а потом уже куда-то девать, вернее, отправлять в родные пенаты, что тоже повлекло за собой много проблем и трагедий. Это, конечно, в тех случаях, когда речь шла о выходцах из Советского Союза или из Восточной Европы. С людьми из нормальных стран было просто — те были счастливы вернуться на родину, а вот мы... конечно, были и среди советских граждан желающие вернуться, но если говорить честно, таких было меньше, большинство боялось этого, как огня, ибо слишком хорошо знало о деятельности СМЕРШа, НКВД и тому подобных органов, для которых даже узники лагерей смерти, или

наши несчастные заморенные военнопленные считались врагами народа.

Брат в эти дни был особенно молчалив, явно скрывая тревогу, и я как-то подслушала его разговор с отцом. Папа был уверен, что англичане не посмеют насильно репатриировать советских граждан: «Ведь англичане всегда считались джентльменами!». «В личной жизни, может быть, — возразил брат, — но в политике они способны на всё, в истории тому много примеров». Я тогда отчаянно испугалась, и было от чего! По сей день я не могу спокойно вспоминать как гнусно и бесчестно повели себя англичане. Но это мы узнали немного позже, пока же нас собрали и снова повезли, на этот раз в Бельгию, по их же собственному маршруту, через Голландию. Тогда в последний раз я видела Германию, и зрелище было ужасным. Страна была не просто повержена, а казалась уничтоженной в прах, ибо прахом стали еще недавно цветущие, уютные городки. Помню, мы проезжали один такой погибший городок, кажется Клеве. Там не осталось ни намека на бывшие там когда-то улицы, ни одной, хотя бы полностью не разрушенной стены, хотя бы кусочков от нее — ничего! Километры и километры ровного щебня... это было страшно и бессмысленно, ведь в городке не было ничего, кроме госпиталей.

Голландская граница была поблизости, и очень скоро мы очутились в Голландии, в пересыльном лагере для перемещенных лиц. Там, кстати, было много поляков и каких-то других славян, каких именно, уже не помню. Важно другое — большинство из них, особенно среди нашего брата — советских граждан, не желало возвращаться на родину, ибо хорошо представляло, чем это грозит. И вот, посоветовавшись, наши люди выбрали своих представителей и отправились к коменданту лагеря. Среди них был и мой брат, как переводчик, он был очень способен к языкам и всегда умел объясниться, даже при небольшом знании нового языка. Коменданту была передана коллективная петиция — опираясь на международное право, не выдавать против воли советских граждан, учитывая не прекращающиеся в СССР политические репрессии. Комендант выслушал, принял петицию и дал слово британского офицера, что против воли никто

репатрирован не будет. Мы несколько успокоились, наивно поверив его слову.

И снова нас повезли.

Бельгия. Встреча с соотечественниками. Белые эмигранты

Не помню уже, сколько дней мы были в пути, любуясь красотами Голландии, а еще больше уютom и неправдоподобной чистотой, часто с пониманием вспоминая Петра Великого, который неспроста был очарован этой страной. Но Голландия невелика, вскоре мы пересекли границу Бельгии и, наконец, прибыли в Брюссель. Пересылочные лагеря для «перемещенных лиц», коими мы теперь являлись, размещались, как правило, в зданиях школ, занятий с детьми в это безумное время все равно не проводилось. Так было и здесь, наша колонна (громadных крытых грузовиков) остановилась возле старинного, темного камня, здания, расположенного в саду и отгороженного от улицы красивой решеткой. Распахнулись ворота, грузовики начали въезжать на территорию школы, и тут, к нашему ужасу, мы услышали приветствие, заставившее нас похолодеть: «С возвращением на родину, товарищи!» Оказалось, в этой школе разместились советские оккупационные части, и, следовательно, по законам военного времени, это уже была как бы территория Советского Союза. А тот английский комендант поступил как «истинный» британец — предал честь офицера ради политических интересов Англии. Хотя какие там интересы! Никакого урона для них не было бы, передай он нас в другой лагерь (а это было в его власти), лучше всего в американский, ведь американцы никого насильно не выдавали, а в сложных ситуациях всегда помогали спрятаться.

Помню такой случай, который нам рассказал один человек, уже в Аргентине, тоже из бывших советских граждан. Он с братом и сестрой был во время войны увезен немцами на работы в Германию и попал в трудовой лагерь в каком-то большом городе. Конец войны застал их в зоне, которую почему-то оккупировали части всех трех союзных держав — Советского Союза, Америки и Англии. Лагерь, о котором идет речь, захватили американцы, но тут же появились

советские представители и потребовали передать им своих граждан. Американцы стали торговаться, настаивая, что передача должна происходить с соблюдением всех международных прав и только при добровольном согласии самих граждан. Наши стали давить (при помощи англичан, разумеется), обвинять не в дружественном отношении к своим союзникам, в общем, едва не дошло до политического скандала, и американцам пришлось уступить. Но пока шли переговоры, они все же какую-то часть (по желанию, конечно) успели тайно куда-то перевести. А этих братьев с сестрой не успели, и вот пришел день передачи. Они были в ужасе и от отчаянья решили все же попробовать спрятаться, но где? Лагерь размещался в каком-то старинном здании, возможно, школе. И там, при выходе, были высокие массивные двустворчатые двери, которые в тот момент были растворены. Улучив момент, они юркнули за одну из створок и замерли. Наши представители (это были люди СМЕРШа) утащили всех, но прежде чем уйти, облазали все здание, заглядывая в каждую дырку, не затаился ли кто. Вместе с ними ходили и американские офицеры и солдаты, которым было положено осматривать и охранять проверенные места, так полагалось, лагерь-то был их. И вот дошла очередь до вестибюля, проверить там было нечего, кроме этих дверей.

«Что мы пережили в эти минуты,— рассказывал тот человек,— поймете только вы. Мы слышали, как они ходят, потом кто-то подошел к другой половине дверей, проверил и пошел к нашей. Я обнял младшего брата и сестру и почувствовал, как от страха немеет лицо и подкашиваются ноги. Наверное, выражение лица у меня было соответствующее, потому что человек, приоткрывший створку двери, глянул мне в глаза и тут же затворил, громко объявив на ломаном немецком, что «все чисто». Потом громко стукнул об пол прикладом и встал охранять объект. Это был американский солдат — с той поры мы всегда поминаем его в своих молитвах».

Вот одно из многочисленных свидетельств людей, переживших подобное в то страшное время.

Так же дошла очередь и до нас... с той поры минуло уже более шестидесяти лет, многое забылось напрочь, но день и

час нашего «счастливого» свидания с родиной помнится с остротой необычайной. В общем, с помощью англичан ловушка захлопнулась, и мы бы пропали, как и многие тысячи наших граждан, попавшихся в лапы СМЕРШа, но нам повезло. В Брюсселе было много белых эмигрантов, они-то нас и спасли, устроив побег. С утра и до позднего вечера они кружили возле нашей школы, делая вид перед охраной, что просто хотят пообщаться с соотечественниками, поздравляли с великой победой, угощали сигаретами, предлагали показать город и т.д., на самом же деле предлагали помощь всем, кто готов был на это решиться. К счастью, это был самый центр города, вокруг полно людей, а главное — толпы военных из частей союзных армий. «Нашим» приходилось сохранять лицо, слишком пристально за ними наблюдали. Безусловно, это сыграло роль, и наш комендант, наконец, решил отпустить желающих на экскурсию. Желающих набралось много и утекло тоже много, но не сразу, на первый раз пришлось вернуться, поскольку нас сопровождала пара конвоиров. Но потом коменданту намекнули, что лучше этого не делать — слишком неблагоприятное впечатление, и он стал отпускать нас без охраны.

Город мы, конечно, посмотрели, главное же — поговорились с нашими спасителями и в один из таких дней сбежали всей семьей. Нас прятала у себя пожилая пара, Константин и Мария Вишневские, он бывший царский офицер, она бывшая смолянка. Очень милые, гостеприимные люди, и очень бедные. Но нам всего хватало, потому что каждый день кто-нибудь приходил и приносил что мог: еду, одежду, лекарство (если было нужно), ведь вся русская колония знала обо всех беглецах и помогала, чем могла. Они же договорились с бельгийской полицией, те выдали нам новые документы, с другими фамилиями (мы, Кочетковы, взяли фамилию нашей бабушки со стороны отца — Слепухины), и таким образом защитили от выдачи. Так они поступали со всеми, кто просил о политическом убежище.

Таким образом, когда наши представители предъявляли списки, требуя выдачи своих граждан, бельгийцы их просматривали и огорченно разводили руками, заверяя, что таковых не имеется. Незатейливо, но эффективно. Юрий

Григорьевич всю жизнь с глубокой благодарностью и уважением вспоминал и наших белых эмигрантов и бельгийскую полицию, так бескорыстно защитивших нас от гибели. И ведь таких утеkleцов, как мы, было много, очень много. Потом они все разъехались по белу свету — кто в Америку, кто в Австралию, кто в Новую Зеландию, даже в Африку — кому что приглянулось. Мы же отправились в Южную Америку, в Аргентину, но это уже спустя два года, в сорок седьмом году. Переселением «перемещенных лиц» или апатридов (лиц, не имеющих подданства, — поскольку, став невозвращенцами, считалось, что мы от него отказались) занимались Объединенные Нации, переселяя людей за свой счет. Европа была буквально наводнена нашим братом, большинство из которых возвращаться в соцлагерь не хотело, поэтому этой проблемой пришлось заняться Объединенным Нациям, и, надо сказать, они с этим справились блестяще: уже через пару лет Европа была практически разгружена, чем все остались довольны. И они, и мы.

Вот так началась для нас наша послевоенная Одиссея, и те два года, проведенные в Бельгии, стали для Юрия Григорьевича очень плодотворными. В частности, там он начал писать свой первый и самый любимый им роман «Перекресток», что, несомненно, связано с воспоминаниями его юности, школы и, конечно, с тоской по родине. Ведь мы не знали тогда, сможем ли когда-нибудь вернуться: Советский Союз казался несокрушимым. Наши спасители — старые эмигранты (так их называли, в отличие от нас — новых эмигрантов) — продолжали так же трогательно заботиться обо всех, кто в этом нуждался, помогая абсолютно во всем. Устраивали на работу, в школы, на курсы языков, приглашали к себе домой, на вечера, в свои клубы, записывали в библиотеки, старались познакомить с приходской жизнью православных церквей.

Так мы познакомились с о. Виктором (к стыду своему, забывала его фамилию). Он был очень умен, образован и — прекрасный проповедник — через год нас с братом подготовил и крестил, вместе, в один день. По этому случаю брату кто-то из наших анонимных друзей заранее передал белые брюки и белую, очень нарядную рубашку, а для меня белую

ткань и кружева, из которых мама сшила мне длинную рубашку, всю отделанную кружевами. Мы были хорошо подготовлены отцом Виктором, к Таинству Крещения относились серьезно и потому очень радовались и волновались. Все было торжественно и поражало своей глубиной. Помню, как мы с братом стоим рядом, с зажженными свечами... помню, как читаем «Верую во Единого Бога Отца Вседержителя...» (Символ Веры, который произносится всяким, принимающим Крещение). Господи, как меня тогда потрясли эти слова! С тех пор это одна из моих самых любимых молитв. Крестным отцом Юрия Григорьевича стал некто Прозоровский, и он же потом привлек его к НТС — была такая антикоммунистическая эмигрантская организация, из которой брат потом вышел в году пятьдесят четвертом или пятом, точно не помню, поняв, что это не имеет под собой серьезной почвы и перспективы.

Эти годы прошли для него очень активно: он работал, учил языки и читал, читал, не переставая. Русская библиотека в Брюсселе была очень хорошая, все лучшие книги там были, а если чего-то не было, они тут же откуда-то выписывали, так что брат мой не терял времени. Еще он очень любил музеи, а там их хватало, много ездил по окрестностям, посещал средневековые замки и монастыри. Часто брал и меня с собою, после чего я буквально заболела «средневековьем», благодаря чему, уже много лет спустя, осуществила свою мечту — написала роман из французской истории «Сломанный клинок», вышедший в 2011 г. в Санкт-Петербурге под псевдонимом — «Айрис Дюбуа».

Юрий Григорьевич перезнакомился практически со всей русской колонией (ведь нас все очень охотно приглашали), и это были очень интересные знакомства, можно сказать «сливки общества» старой России: громкие имена, знаменитые фамилии, о которых мы раньше только слышали по рассказам родителей. Почему-то мне особенно запомнилась внучка генерала Врангеля, Наташа, и ее голос — в один из вечеров у них на дому она пела романс «Снился мне сад в подвенечном уборе», и это было прекрасно. Я слушала, замирая от волнения и восторга, запомнив этот вечер на всю жизнь. И еще мне запомнилось безукоризненная воспитан-

ность этих людей. Общаться с ними было очень приятно, к тому же интересно, они рассказывали так много нового о прошлом России (не надо забывать — коммунисты преподносили это прошлое в искаженном виде), что оставалось только слушать и делать выводы. Помню еще старого графа Апраксина — он каждую неделю у себя дома читал лекции по русской истории для молодежи. Прийти мог любой, после чего устраивались диспуты, обсуждали лекцию, делились мнениями. Это было замечательно и крайне познавательно. Разумеется, брат мой эти лекции никогда не пропустил.

Но вся эта светская жизнь осуществлялась с большой осторожностью — нас оберегали, и мы тоже действовали с оглядкой, ведь СМЕРШ не дремал, выискивая своих разбежавшихся граждан повсюду, даже на улицах. Поэтому, Боже упаси заговорить по-русски вне дома! Проходящий мимо советский патруль (а они постоянно патрулировали улицы) мог тут же схватить вас и потащить в ближайший лагерь или посольство, где многие так и сгинули. Помню, один такой случай особенно потряс тогда нашу колонию: какую-то молодую женщину, из бывших остарбайтеров, изловили прямо на улице, а через два дня она выбросилась из окна здания посольства и разбилась насмерть.

Зато среди белых эмигрантов нашлись затейники, которые, дабы позлить «красных», придумали себе прекрасное развлечение. Рассовав по карманам свои документы, заодно и регалии прошлого, а затем, одевшись под нашего брата (чтобы советские агенты не сразу догадались, с кем имеют дело), они парами отправлялись прогуляться по улицам, беспечно болтая по-русски. Я не оговорила про агентов, патрулировать было не всегда возможно, поэтому наши оккупационные власти пользовались специальными агентами, подсадными утками. Забавно, но такая простая хитрость удавалась. Их хватали, тащили, они разыгрывали страх, панику, пытались вырваться, привлекая внимание как можно большего числа прохожих, а затем начинали громко звать полицию, которая не заставляла себя долго ждать (их это тоже забавляло). Ну, а дальше все шло по плану — дело кончалось громким скандалом: «советские молодчики совсем озверели! Они не уважают прав человека, смотрите что творится,

людей хватают ни за что, прямо в центре европейской столицы, — позор! Вот что значит коммунисты! Берегитесь, люди, завтра и вас могут схватить!».

После такого спектакля СМЕРШевцам ничего не оставалось, как поскорее убраться, а наши герои возвращались домой гордые и счастливые, что хотя бы в мелочах удастся попортить крови Советам. Об этом сразу становилось известно по всей колонии, и в воскресенье, в храме, после литургии, их расспрашивали и поздравляли, посмеиваясь над одураченным противником.

Но для нас встреча с нашими представителями была опасна, и для многих кончилась печально. Так, одного нашего знакомого, который сбежал вместе с нами, похитили по лучшим законам шпионской практики. Он был большой любитель женщин и не нашел ничего умнее, как завести роман с какой-то никому не известной дамой, взявшейся преподавать ему французский язык. А дальше все просто: она пригласила его к себе домой, бедняга раскрылатился и помчался, но... уву! — там его уже ждали.

В общем, жизнь наша пестрела опасностями, но и многими яркими впечатлениями. Юрий Григорьевич и мама в те годы работали на дому, раскрашивали каких-то игрушечных солдатиков, а папа трудился на каком-то маленьком велосипедном заводике. Меня устроили в школу, в королевский (Бельгия ведь и по сей день королевство) лицей для девочек, сразу в 4-й класс, причем на языке, который я только еще начинала учить, но, как ни странно, я справилась. Надо сказать, что учительница у нас была чудесная, школа тоже, до сих пор вспоминаю с благодарностью. Главное внимание уделялось гуманитарным наукам, особенно истории и литературе, — понимали же люди, что стране нужны мыслящие люди! То ли дело у нас, как начали в 17-м, так и продолжают плодить манкуртов. Обидно, так ничего и не поняли!

Ну а брат, повторяю, времени не терял — он читал все свободное время, «проглатывая» книги с невероятной быстротой. И писал. Конечно, пока еще только пробуя свои силы, но все же свой первый роман он начал именно там.

Там же пришлось ему пережить и свою первую любовь. Звали ее Мара (Мария) Литвинова, из белой эмиграции,

очень хорошенькая, лет шестнадцати, но занятая и очарованная только собой. Ее отец работал в Бельгийском Конго, в администрации, перед войной из-за болезни жены вернулся в Бельгию, но к сорок пятому году оба умерли, и Мару воспитывали старший брат и сестра, Борис и Наталья, которые, жалея сиротку, избаловали ее вконец. Кстати, Борис тоже был в НТС, к тому же работал в русской библиотеке, и на этой почве они с братом подружились. Но самым большим другом моего брата был некто Арно (к сожалению, не помню его фамилии), примерно того же возраста что и Юрий Григорьевич. Отец его был иностранец, кажется француз, мать русская, поэтому по-русски он говорил прекрасно, как все дети белых эмигрантов. К тому времени отец его умер, и он жил с матерью, еще молодой женщиной, удивительно утонченной и одухотворенной красоты, таким же был и Арно — высокий, стройный, с темными, как у матери, вьющимися волосами и огромными сияющими глазами. Они были очень любящими и дружными, понимали друг друга с полуслова, и мать во всем поддерживала и помогала сыну. Арно был католик (видимо, по отцу), бесконечно преданный Христу, он мечтал стать миссионером, мой же брат был православный и мечтал стать писателем, но это несколько не мешало их дружбе. Он часто приходил к нам, и я втайне любовалась им, жалея, что по малолетству не могу участвовать в их разговорах. А разговаривали они часами — о вере, о богословии, о жизни, понимая один другого во всем. К несчастью, Арно был очень болен, у него был туберкулез, и с таким диагнозом становиться миссионером было равно самоубийству. Мать пыталась его удержать, но потом поняла и смирилась. Когда мы уже покинули Бельгию, мечта Арно сбылась — он стал миссионером в Конго, а его мать, тоже приняв монашество, уехала вместе с ним, как его ближайший помощник. Брат и Арно долго продолжали переписываться, обычно письма приходили по миссионерским каналам, на адрес какого-то католического монастыря в Буэнос-Айресе. Но году в пятьдесят пятом прекратились, а потом брату сообщили, что Арно погиб. Юрий Григорьевич понимал, что иного конца и не могло быть, но все равно пережил это очень тяжело, ведь такого друга у него больше никогда не было...

Что же касается Мары, эта любовь так и осталась лишь мечтой, а вот с ее братом он связи не терял, и они еще долго переписывались. Насколько помню, Борис, выдав сестер замуж, перебрался из Брюсселя в Мюнхен — там ведь находилась штаб-квартира НТС. Вот вроде и все, что удалось вспомнить о нашем пребывании в Бельгии.

Путь под созвездие Южного Креста

А потом появилась возможность эмигрировать на другой континент, и мы (это было уже лето 1947 года) выбрали Аргентину, о чем никогда не пожалели. Новая страна оказалась гостеприимной, щедрой, ошеломляюще красочной и процветающей, особенно по сравнению с послевоенной Европой. Да и само путешествие было замечательным — ярким, интересным. Мы плыли целый месяц, заходя в разные экзотические порты. Например, Дакар в Африке. Мы тогда впервые увидели такое количество невиданных плодов и обезьян. А какими удивительными красками пестрел африканский берег! Даже океанская вода в порту (возле берега) казалась ярко-зеленой на фоне красновато-оранжевых песчаных скал. Не знаю, можно ли их назвать скалами? Они все были какие-то пористые.

Впрочем, не в этом дело, важно другое — непривычная яркость красок всего окружающего. С той поры минуло более шестидесяти лет, а в моей памяти они ничуть не потускнели. В Дакаре мы купили голову африканского воина, вручную вырезанную из черного дерева, негры торгуют такими изделиями на базарах. Это очень красивая вещь, чудесный, со вкусом сработанный сувенир, все им восхищались, постоянно уговаривали продать, даже грозились украсть... Она живет у нас до сих пор, очень тяжелая, ведь черное дерево необычайно тяжелое, мне кажется, даже камни легче...

А какие неправдоподобные закаты над Атлантикой нам довелось увидеть! Но это уже под конец нашего пути, когда мы пересекли экватор, и до берегов Южной Америки оставалось немного. Теперь, глядя на наше блеклое северное небо, просто не верится, что где-то подобные закаты действи-

тельно бывают. Особенно мне запомнился один. Было полное безветрие, штиль, и вода, что крайне редкое явление в океане, казалась неподвижной. И, наверное, поэтому в ней, как в зеркале, отразилось закатное небо, пылающее всеми цветами радуги, а сам небосвод казался опрокинутой перламутровой чашей, края которой по линиям горизонта сливались с такой же перламутровой гладью воды. Это была дивная картина, почти волшебная, возможная только в тех широтах. Все пассажиры высыпали на палубу и смотрели молча, как зачарованные. Мой брат тоже смотрел, а потом тихо сказал: «как жаль, что я не художник! Впрочем, такое передать невозможно...».

Еще мне запомнилась ночь, когда мы впервые увидели созвездие Южного Креста, а ночи там дивные — с глубоким, иссиня-черным бархатным небом, пылающим яркими, низкими и неправдоподобно крупными звездами: так и кажется — протяни руку и достанешь. Мы с ним сидели на бухте свернутого каната и любовались этой красотой. Особенно нас привлекал к себе Южный Крест, означавший, что мы вошли в другое полушарие и в другую жизнь.

Мы долго так сидели, брат, как всегда, о чем-то думал, а потом говорит: «Представляешь, какое хорошее название для книги — “Южный крест!”». И мысль эта не пропала даром — потом, спустя годы, уже здесь, в России, он действительно написал роман с таким названием. Как он говорил, у писателя любая, даже случайно мелькнувшая, мысль идет в работу, до поры хранясь в кладовых памяти, пока не наступит момент извлечь ее на свет Божий.

В общем, путешествие было приятным и общество тоже, ибо с нами перемещалось великое множество славян, особенно русских и поляков, так что матросы и обслуживающий персонал нашего «Груа» (пароход был французский) как-то терялись и нам не мешали. Конечно, мы помещались в третьем классе, иными словами в трюме, но кормили нас хорошо, врачи следили за нашим здоровьем, и прав человека никто не нарушал. А значит, мы могли гулять по нижней палубе, загорать, петь и танцевать, сколько сил хватало, чем и воспользовалась наша молодежь, а ее было подавляющее большинство.

Впрочем, когда пересекали экватор, веселье стало всеобщим — веселился весь пароход, от капитана до самого последнего, еще необученного матроса. Тут были и черти с трезубцами, и полуголый, толстый Нептун в короне и с огромной серебристой бородой, который руководил праздником и осуществлял шуточный обряд крещения тех, кто в первый раз пересекает экватор. Для этого на верхней палубе был сооружен большой бассейн, куда и кидали новичков, а двух матросов так просто кинули за борт и потом довольно долго вылавливали. С дамами постарше, конечно, обходились галантнее, просто поливали водой из шланга, ну а молодых ловили с большим удовольствием и тоже тащили в бассейн. В общем, визгу, крика и смеха было вдоволь. Потом капитан выставил угощение для всех, а закончилось все танцами до утра. Кстати, на роль Нептуна выбрали одного из наших. Это был молодой (лет тридцати) профессор математики из Ленинграда. Кажется, он был в плену, но ему повезло выжить и не попасть в зону советской оккупации. Впоследствии, в Буэнос-Айресе, он процветал: оказался очень талантливым ученым, по-моему, астрономом, преподавал в университете, имел свои труды, и аргентинцы с ним носились как с писаной торбой. Кстати, он был большой любитель поесть, а в Аргентине сделался настоящим гурманом, благо возможности были неограниченные, чем и наслаждался от всей души, отказываясь даже жениться, дабы не нарушить блаженного состояния. В русской колонии за ним закрепилось прозвище «Лукулл», к сожалению, фамилию его не помню. Он был полным, говорил глубоким бархатным голосом, настоящий сибарит.

Возможно, кто-то спросит — а зачем такие подробности, разве они относятся непосредственно к личности Юрия Григорьевича? Именно к нему не относятся, но я записываю то, что вспоминается, к тому же все эти мелочи помогают создать картину окружавшей его жизни. Возможно, сами по себе они и не важны, но если представить себе, что это же видел и он, видел и реагировал на них, пропуская их через свой внутренний мир, то это меняет дело. Как знать, может быть, когда-нибудь найдется человек, кому это будет интересно и кто захочет описать это время и этого чудесного

человека и замечательного писателя, в судьбе которого было так много интересных событий, даже экзотики.

Теперь до Южной Америки было рукой подать, и те, кто помоложе, постоянно толклись на палубе в надежде первыми различить очертания вожделенного берега. Первым портом, принявшим нас на новом континенте, был порт Рио-де-Жанейро. Он остался в моей памяти как воплощение тропической экзотики во всем: яркой, бьющей в глаза, буквально слепящей. Пальмы, незнакомые деревья: пышные, усыпанные яркими цветами; огромные, переливающиеся всеми цветами радуги бабочки и очень странные, отдающие стариной здания, с порталами в колониальном стиле, поражающие огромными, невероятно нарядными, узорчатыми дверями, где причудливо сочетались и резьба по дереву, и инкрустация, и всевозможные медные детали — весьма затейливые и не всегда понятного назначения. Помню, одни из дверей (кажется, какого-то банка) были инкрустированы перламутром, и это было очень красиво. Сегодня, если судить по современным фильмам, Рио-де-Жанейро уже не похож на тот старый Рио, и не удивительно, ведь минуло столько лет. Но статуя Спасителя и ныне встречает и благословляет прибывающих, Его видят первым, и это радует и вселяет надежду... В этом смысле Бразилии можно позавидовать.

Ну а потом еще был Сантос, в то время довольно небольшой, шумный и грязный, запомнившийся горами апельсинов в порту и невысказанным количеством полуголых негрят, пытавшихся эти апельсины продать, крикливых и цепких, как обезьянки. Они буквально кишели на палубе, облепив все борта корабля, и стряхнуть их было невозможно. Зато апельсины были сказочные, сладкие, сочные, ароматные, только что с дерева. Такие в наших широтах не попадают, их просто не довезти.

Наш путь приближался к концу, и мой брат с каждым днем становился все молчаливей, постоянно о чем-то напряженно размышляя. Мне было тринадцать лет, впереди ждала новая жизнь, и очень хотелось обо всем этом поговорить именно с ним, поэтому я ходила за ним хвостом и все пыталась разговорить, вопрошая, почему он молчит.

«Я думаю», — отвечал он, но мне этого было мало, и я задавала следующий нелепый вопрос: «Зачем же все время думать?» «Да, знаешь, есть у меня такая странная привычка», — и улыбался, добродушно и как-то очень мягко. У него была очень хорошая улыбка — добрая и немного застенчивая. Вообще в юности он был застенчив и среди чужих людей все больше молчал, за что один наш знакомый называл его «тихомолом». Наверное, следует сказать и об его внешности: он был красивый юноша, высокий, стройный, с темными, зачесанными назад волосами (по тогдашней моде), очень серьезный, подтянутый, и порою, благодаря своей сдержанности, мог казаться даже немного высокомерным, за что папа его корил. Но это было от застенчивости, которую он пытался не показывать, и с годами совсем ушло. В Европе после войны союзные войска распродавали по дешевке солдатскую форму, новую и очень добротную, ее носила вся молодежь. В такой одежде он мне и запомнился на пароходе. Высокие ботинки, брюки, рубашка и куртка цвета хаки, черный, довольно большой берет, лихо заломленный на одно ухо. Надо сказать, ему это очень шло.

Аргентина. Жизнь в Русской колонии

В конце августа 1947 года наше судно вошло в устье Ла Платы, и, после положенных досмотров и проверок, мы, наконец, ступили на гостеприимный берег нашего нового дома, и перед нами открылась панорама Буэнос-Айреса, прекрасной столицы Аргентины. Была весна, все цвело и пахло, ошеломляя яркостью красок, ароматами тропиков и чарующими звуками танго, в исполнении их национально-го любимца Карлоса Гарделя, голос которого звучал везде, будто рождаясь из самого воздуха — даже здесь в порту — исключительно деловой части города, заполненной судами, техникой, подъемными кранами и машинами всех марок и размеров. Хотя если вспомнить, что танго родилось и получило свою известность как раз в портовых кабаках Буэнос-Айреса, то его звучание именно здесь, в порту, становилось вполне понятным и естественным.

А еще нас поразили люди — они были веселы и приветливы, от души приветствуя эмигрантов. Надо сказать, что

это доброе отношение к иностранцам (чего не было в Европе) проявлялась у них во всем, все те годы, что мы там прожили, а прожили мы десять лет, срок не малый. Интересно, как там теперь, не иссякло ли их добродушие?

Несколько дней мы прожили в порту, там был специальный перевалочный пункт типа общежития для прибывающих эмигрантов; за это время нам оформили и выдали документы, деньги на первое время, чтобы мы не пропали, пока будем осматриваться, и выпустили в город, уже на свою ответственность. Помню, что это было страшновато. Город и люди нас очаровали, но... это была чужая страна, чужие люди, чужие порядки, и ко всему еще только предстояло приспособиться и найти свое место. Мы сняли комнату в каком-то маленьком дешевом отеле, неподалеку от порта, оставили вещи и пошли бродить по городу, отыскивая знакомые по путеводителю места. И, надо сказать, чувствовали себя неуютно, а Юрий Григорьевич совсем захандрил, и, наконец, признался: ему тяжело сознавать, как бесконечно далеко теперь Россия. На что папа резонно заметил, что «в данное время этому следует только радоваться, а в будущем все может сложиться иначе: если Бог сочтет нужным — ты вернешься». Он оказался прав, все вернулись и давно уже снова ушли. Отец в 1961-м, мама в 1980-м, а брат в 1998-м. Только я зачем-то осталась — случилось то, чего я больше всего боялась, еще тогда, в годы своего военного детства...

Буэнос-Айрес уже тогда был совершенно современной, европейской столицей, притом яркой, нарядной и очень приветливой. Люди тоже произвели на нас самое хорошее впечатление. Так же и законы, очень гуманные и удобные для эмигрантов, ведь, по сути, мы пользовались всеми правами местных жителей: чем не жизнь? Даже незнание языка не мешало, я имею в виду людей постарше, а для моего брата в этом вообще не было проблемы. Он еще на пароходе подучил испанский, так что сразу неплохо мог объяснить-ся, а уже через пару месяцев говорил совершенно свободно. Языки он усваивал на удивление быстро. Впрочем, он был талантлив во всем, за что бы не брался, Господь одарил его в полную меру и, надо сказать, он никогда не забывал свою ответственность за эти дары.

И что характерно — никогда не заносился, не гордился, оставаясь очень скромным, очень требовательным к себе человеком, притом весьма терпимым к другим. Те, кто его хорошо знал, очень часто его хвалили, восхищаясь талантом, умом и прекрасными качествами его характера. Но он уклонялся, умело отшучиваясь, от этих восхвалений (если это были чужие), своим же терпеливо объяснял, что хвалить его незачем, поскольку все хорошее в нем не личная заслуга, а дар Божий. «Мне просто не хочется делать гадости, понимаешь? — объяснял он мне. — Кто знает, сумел бы я удержаться, если бы мне очень хотелось их совершать?» Но меня это не убеждало, мало ли таких, кто, получив дары, зарывает их в землю, находя для этого тысячу причин. Он же трудился до последнего своего дня, даже когда был уже смертельно болен...

Все прибывающие из Европы иммигранты первым делом находили русские церкви (а их было немало, и прихожане посещали их регулярно), заводили знакомства, получали полезные советы, часто даже рекомендации и начинали осваивать новое пространство. Так было и с нами. Очень скоро папа и брат нашли работу, сначала на стройке, чтобы не засиживаться, сняли квартиру и постепенно стали входить в жизнь русской колонии.

А колония к тому времени была уже весьма многочисленна, и жизнь в ней кипела ключом, поскольку публика понаехала весьма пестрая и разношерстная — и по биографии, и по политическим пристрастиям. Единственно, в чем все были единодушны, — это в своем неприятии коммунизма, и если кого-либо вдруг начинали подозревать в «розовых» настроениях (т.е. в симпатии к Советскому Союзу), от него мигом отворачивались, дружно вытесняя из своей среды. Правда, таких было очень мало, обычно это были потомки людей, эмигрировавших еще до революции (так называемые экономические эмигранты), но в наших глазах их это не оправдывало, и с ними предпочитали не общаться. Даже церковь у них была своя, построенная еще царским правительством, очень красивая, но мы туда не ходили, поскольку она находилась в подчинении Московской Патриархии, у нас же были свои церкви, подчинявшиеся только зару-

бежным иерархам, после революции не принявшим советской власти и ушедшим в изгнание. Наверное, теперь, когда наша Церковь снова едина, это может показаться диким, но тогда мы не могли воспринимать это иначе, все было слишком наболевшим, и всякое напоминание о Советском Союзе становилось одиозным. И еще в колонии образовалось множество политических организаций и союзов, и все это было очень интересно. Там были и монархисты, и эсеры, и демократы, и славянофилы, и кадеты, и Государево Служилое войско, и Российский Имперский союз, и Высший Имперский союз (под эгидой некоего Н. Сахновского), и Народно-Имперское Штаб-капитанское движение, и Национально Трудовой Союз — НТС, так называемые «солидаристы» (поскольку их программа основывалась на солидарности всех сословий), и скауты, и, разумеется, газеты всех мастей и окрасок: например, весьма любопытная газета под названием «Наша страна». Ее финансировал Иван Солоневич, умудрившийся каким-то образом, вместе с двумя сыновьями, бежать из сибирских концлагерей, написавший уже на Западе очень популярную в то время книгу «Россия в концлагерях» и теперь, в Буэнос-Айресе, выпускавший газету. Были также русские библиотеки и русские клубы, где каждую субботу устраивались вечера, а раз в месяц — большие балы, которые обычно организовывались под эгидой и на средства тех самых организаций и союзов (для этого у каждого был свой черед). Это позволяло общаться и давало неплохие сборы, которые шли частично самим устроителям, частично на благотворительность.

Понятно, что Юрию Григорьевичу по молодости лет все это было интересно, и он тут же включился в это кипение, не прекращая при этом писать и по-прежнему читая каждую свободную минуту. Сейчас вспоминаю и сама дивлюсь, как он все это успевал? Ведь он еще и работал, и много работал: и на стройке, и в автомастерских, и на фабриках, и все это при тамошней, весьма тяжелой жаре, которая порой доходила до 44 по Цельсию. А расстояния там большие: Буэнос-Айрес — огромный город, и дорога на работу и обратно занимала много времени. Я помню, он приходил домой очень усталый

и все равно времени не терял. Поест, немного отдохнет и опять за письменный стол или за книгу. Даже по дороге на работу, в поезде, он обычно писал или читал, а если уж бывал очень усталый, значит, обдумывал новые страницы. Кроме того, он сотрудничал со всеми крупными русскими издательскими центрами зарубежья — в Европе и в Америке — писал статьи и очерки для газет и толстых журналов, очень скоро приобретя известность в этих кругах.

Еще в Бельгии он стал членом НТС, так что много писал для «Посева», очень тогда известного журнала, который издавал этот союз то ли в Нью-Йорке, то ли в Вашингтоне, такие детали уже позабылись. Его очень ценили, поскольку публицист он был блестящий. Представители НТС были и в Буэнос-Айресе, и довольно скоро он вошел в руководящий состав этой группы и стал представителем НТС по всей Южной Америке. Писал статьи, выступал на собраниях, а собирались они часто, ведя обширную и довольно кипучую деятельность. Солидаристы тоже устраивали свои вечера, концерты, открытые собрания и т.д., в общем, работы хватало. В те годы молодежь еще верила в политику, наивно мечтая своей деятельностью принести хоть какую-то пользу Отечеству. Но время шло, в союзе начались разногласия, потом ссоры, и Юрий Григорьевич с огорчением понял, что все это мираж и самообман — попросту игры. Хотя было среди них очень много искренних и достойных людей. Но что поделаешь, в любой человеческой организации со временем непременно возникнут смуты и настроения. Хотя в самой идее «солидаризма» было очень много разумного, и, повторяю, достойных и умных людей тоже хватало. В частности, я помню руководителя их группы в Буэнос-Айресе, некоего Мамукова, уже немолодого человека, который горел и верил в свою идею, как юноша. Во время революции — белый офицер, эмигрировавший и осевший где-то на Балканах. Там же он стал одним из первых создателей НТС, свято веривший, что эта идея когда-нибудь все же найдет свое место на родине. Он был очень тяжело болен легкими, побывал в немецком концлагере, едва унес ноги от СМЕРШа, но его вера, энергия и воля были несокрушимы. А еще у него были удивительные, сияющие глаза — поистине это был светлый

человек. При этом очень умен, великолепно образован, одарен в ораторском искусстве. Надо ли удивляться, что Юрий Григорьевич его очень ценил и уважал. К сожалению, такие люди всегда в меньшинстве... пришли более молодые, более честолюбивые, и начались разногласия, приведшие к расколу. Вот так и получилось, что, разочаровавшись в этой деятельности, Юрий Григорьевич, кажется в 1955 году, точно не помню, официально порвал с НТС, напечатав в «Посеве» (или какой-то большой Нью-Йоркской газете, к сожалению, точнее сказать не могу) разгромную статью — «Крушение одной концепции», чем вызвал смятение и гнев в рядах солидаристов. Сам же он после этого уединился, стал реже бывать в обществе и уже целиком посвятил себя литературе.

Кстати, вспоминая сейчас Мамукова, вспомнила его жену, которую за глаза все именовали Мамукейшей. Женой и матерью она была преданной и достойной, но жила по правилам совершенно удивительным. Еще в революцию покидая Россию, она дала зарок не говорить ни на одном иностранном языке — «Пусть они (они — это все иностранцы) учатся нашему языку!», заявляла она всякий раз, как ее пытались разубедить, и заканчивала совершенно неожиданно — «я сибирячка, и меня никто не сломит!». Так она и прожила всю жизнь, принципиально не желая знать другого языка, кроме родного русского, благо Мамуков, поглощенный политикой, давно махнул рукой на ее причуды. Она действительно была родом из Сибири, высокая, статная, с пышным бюстом, причем очень боевая. Бывала она и у нас в доме, и всякий раз вытаскивала нас с мамой пройтись по магазинам. Надо было видеть эти походы! Недалеко от нас был очень хороший магазинчик тканей, который держал какой-то веселый толстый сириец. Мамукейша важно вплывала в магазин и громогласно объявляла, тыча указательным пальцем себе в грудь, — «Их бин сибирячка! И потому мы будем говорить только по-русски...», и далее начинался долгий, придирчивый выбор тканей. Самое забавное, что ее все понимали, она их тоже. Сириец веселился, восторженно воздавая руки и прищелкивая языком, мы тоже веселились, с интересом наблюдая, как они ловко все обсуждали, каждый на своем языке, и все заканчивалось ко взаимному удовольствию. Одно

было непонятно: почему она все же употребляла именно «их бин»? Почему не пару слов на том же испанском — «йо сой»? Но она была так занята и так умела поднять настроение, что мы ее этим вопросом не травмировали.

Пока описывала Мамукейшу, вдруг вспомнилась еще одна любопытная деталь, на этот раз уже о серьезном, вернее, одно предсказание по поводу литературной судьбы Юрия Григорьевича. Был у нашего отца знакомый, из первой еще волны белой эмиграции. Человек очень образованный, знаток и ценитель литературы (к сожалению, не помню его имени). А папа очень любил и высоко ценил первый роман брата «Перекресток» и, видимо, решил проверить свое впечатление на этом человеке, дав ему почитать рукопись. Он прочел, и, возвращая ее, очень торжественно поздравил отца, сказав: «Григорий Пантелеймонович, мы, конечно, с вами этого не увидим, но я уверен — придет время, когда ваш сын прославит русскую землю...». Отец был очень тронут и горд таким отзывом, а я запомнила его на всю жизнь, потому что целиком его разделяла.

Итак, брат весь ушел в свое творчество, а там подошел памятный 1956 год и знаменитое Хрущевское разоблачение культа личности, так бесповоротно изменившее и нашу судьбу.

Впрочем, это было уже второе великое событие, первым была смерть Сталина, и этот день запомнился мне навсегда — 5 марта 1953 года: какой это был счастливый день для нас, эмигрантов! В Буэнос-Айресе стояло лето, неумолимо знойное даже для Аргентины, ниже сорока четырех градусник не показывал, и мы изнывали, мечтая о снеге. У Юрия Григорьевича как раз был отпуск; он в эти годы уже работал электриком на очень большом заводе, помощником инженера, а по сути, выполнял его работу. Инженер был молод, еще неопытен, а у брата и знаний, и опыта хватало, за что его и ценили. Кстати, получал он намного больше инженера. Итак, у него был отпуск, и мы, спасаясь от жары, вместе с мамой уехали на папину кинту, или фазенду, как у нас теперь говорят. Отец в это время пытался разводить всякую живность (кур, уток, кроликов, даже поросят), а потому, вместе с одним русским, купил большое поместье на окраине

Мар-дель-Плата — это известный курортный городок на берегу Атлантического океана. Скажу сразу, что из этой затеи ничего не вышло, и через год отец кинту продал и завел, уже в Буэнос-Айресе, мастерскую по шитью мокасин, и вот тут дела у него пошли. Он процветал, завел себе итальянских рабочих (они считались очень ценными мастерами), и когда мы покидали Аргентину, был уже очень богатым человеком. «Еще немного, — шутил он, — и я бы стал “Королем мокасин”!»

Но я отвлеклась. Короче говоря, 5 марта мы все находились на кинте, и рано утром Юрий Григорьевич, прихватив и меня (на багажник своего велосипеда), уехал на пляж — позже там уже можно было изжариться живьем. Мы сразу поспешили к воде и долго там наслаждались, уже ни на что не обращая внимания. Хотя мельком все же заметили, что на берегу вдруг поднялась какая-то суматоха. Брат глянул внимательнее и отмахнулся: «А-а, газетчики... опять, какое-нибудь жуткое преступление, на почве ревности!» Наконец, наплававшись, мы выбрались из воды, и, пробежав немного по раскаленному песку, буквально остолбенели, боясь поверить услышанному, — мальчишки-газетчики носились как угорелые, размахивая в воздухе рукой с зажатой в ней газетой, и вопили что есть мочи: «Экстренный выпуск! Кремлевский тиран мертв! Умер Хосе Сталин!! Спешите купить последние экземпляры!» Я посмотрела на брата, он был очень бледен (он всегда бледнел, когда сильно волновался), потом схватил меня за руку, и мы кинулись к своим вещам, за деньгами. Белозубый, смуглый мальчишка, наметанным глазом оценив покупателя, выхватил из сумки сразу три экземпляра и ловко сунул ему в руки: «Берите, сеньор, берите все! Пригодится для истории!» И уже убегая, одарил нас радостно сочувственной улыбкой: «Сеньор, наверное, поляк...», — и добавил, послав мне воздушный поцелуй, — «поздравляю с доброй вестью, прекрасная сеньорита!» Этому не следует удивляться, в Аргентине почему-то не делали разницы между русскими и поляками, что же касается комплимента в мой адрес, это тоже было нормой — там мужчина уже с детства учится говорить комплименты, даже на улице. Мальчишка с воплями понесся дальше, а мы, наконец, развернули газету.

Там во всю первую страницу был напечатан огромный портрет Сталина, перечеркнутый крест-накрест жирными черными полосами. И все. Текст шел уже на других страницах. Юрий Григорьевич долго смотрел на него, потом вздохнул: «Все-таки мы этого дождались — слава Богу!»

Вот так мы узнали о смерти «отца народов». Боже, какая же это была радость, и сколько всколыхнувшихся надежд! Все русские (и поляки, кстати, тоже) бежали с визитами, как на Пасху, обнимались, целовались, поздравляя друг друга. Поистине, это был великий день, и нашей радости не было конца. А потом стали поступать сообщения, что Россия оплакивает своего Вождя, о том, что творится на его похоронах, и мы не поверили. Никто из эмигрантов не поверил, не захотел поверить. Слишком это было чудовищно и позорно — вот так оплакивать своего палача. Мы возмущались, спорили, доказывали тоже изумленным аргентинцам, что это чудовищная клевета на русский народ, готовы были дать головы на отсечение, с негодованием спрашивая друг друга — как же можно так бесстыдно врать, и зачем? Увы, все оказалось правдой, но узнали мы ее лишь в 57-м году, когда вернулись в Россию. Юрий Григорьевич с горечью убедился в этих постыдных фактах нашей истории, и это было его первым разочарованием. Находясь в эмиграции, даже не отдавая себе отчета, все мы, мало-помалу, начинали идеализировать свой народ, все плохое приписывая только власти и принуждению. Но тут уж пришлось согласиться, что никто не мог заставить этих людей давиться и падать в обморок у гроба этого чудовища, и понять это было невозможно. Я, например, не понимаю этого и по сей день. Так же как не понимаю, как уже в наши дни, когда все давно рассказано и показано, как можно оправдывать прошлое, врать, что не было ГУЛАГа, не было террора, не было чисток миллионными жертвами, обескровивших страну, и тем паче — желать появления нового Сталина? А ведь желают, и таких немало! Может быть, дело в том, что рассказано-то не все, не до конца? Фиговый листок так и остался. В Германии, например, были осуждены тысячи нацистов-преступников, у нас — ни одного! А ведь наши чекисты натворили не меньше...

Но все это будет потом, тогда же мы жили ожиданием и надеждой, и все связанное с Россией было для нас свято. Поэтому, когда некоторые скептики из так называемых зубров (особо непримиримые) пытались доказать, что России давно нет, она погибла в 17-м, а то, что осталось, это действительно новообразование, действительно Советский Союз, и уж ни как не Россия — Боже, как мы возмущались, прямо на стенку лезли! А вот теперь приходится признать, что советская власть действительно изменила сознание народа, отчего теперь и страдаем. И не просто изменила, по сути, это был настоящий геноцид русского народа, причем в таких масштабах, каких не знал ни один народ, но почему-то об этом стыдливо умалчивают. А ведь все лучшее было уничтожено, начиная с верхов и кончая крестьянами, среди которых, под эгидой раскулачивания, тоже были уничтожены самые работающие, самые здоровые (и это после того, как Ленин, в свое время, обещал землю крестьянам). Господи, как же нужно было ненавидеть собственный народ, чтобы так с ним обойтись! Осталась лишь малая часть случайно сохранившихся «недобитков», так чего же мы теперь удивляемся коррупции, мафиозным структурам, наркомании и похабному шоу-бизнесу? Правильно написал Солженицын в своем «Архипелаге» — Сталин гениально все рассчитал, на много поколений вперед. Впрочем, это уже другая тема... Вернемся лучше в прошлое.

Начало литературной деятельности. Круг друзей и знакомых

Порвав с солидаристами, Юрий Григорьевич отошел и от других дел, связанных с политикой. В частности, перестал интересоваться деятельностью одной любопытной организации, в годы войны сотрудничавшей с немцами, естественно, с фашистским уклоном, хотя маскировались они под русских патриотов, именовавшими себя «Российское Военно-Националистическое освободительное Движение имени генералиссимуса Александра Суворова». Имелся у них и свой собственный журнал — «Суворовец», где трудился главным редактором некий господин Месснер — известный военный теоретик. Основателем же союза, если не

ошибаюсь, был Борис Алексеевич Смысловский (псевдоним — Регенау или Хельстон). Их осуждали и смотрели на них косо, они же объясняли свой выбор тем, что, мол, в борьбе с коммунизмом все средства хороши. В общем, компания была нерукопожатная, с явно преступным прошлым, к тому же ходили слухи, что они и теперь не порвали своих связей с нацистами, а в Аргентине их было немало, конечно тайных. Вот это-то и заинтересовало Юрия Григорьевича, и по молодости лет ему захотелось проникнуть в их тайны. Помню, был там у них один колоритный персонаж, некто полковник Клименко, уже из новой эмиграции, бывший советский офицер. Такой внешности нарочно не придумаетшь: гориллообразная фигура, лягушачий, от уха до уха, рот и узкие щелки бесцветных, всегда настороженных глаз. А вдобавок короткий ежик белесых волос, отчего казалось, будто он побрит наголо. Ужасно! Я на него смотрела со страхом. Папа тоже его опасался и советовал брату оставить свое расследование, но Юрий Григорьевич его успокаивал, уверяя, что не собирается лезть в их логово, а всего лишь хочет получить кое-какие любопытные сведения. И как-то раз добавил: «Кто знает, может, они мне пригодятся в работе, для моих героев...».

И действительно пригодились — для романа «Южный крест».

Этот жуткий полковник почему-то воспытал огромной симпатией к Юрию Григорьевичу и, завидев его где-нибудь в клубе, на балу или на концерте, спешил подойти и завязать разговор, а потом, затащив в уголок поспокойнее, начинал изливать душу (наверное, потому, что брат умел слушать). Я как-то спросила: «Как ты можешь с таким терпением слушать его пьяный бред?» — а надо сказать, что полковник почти всегда пребывал под мухой, но брат только усмехнулся: «О, к сожалению, его излияния — это далеко не бред! Тут ты ошибаешься...». Но большего о его признаниях он нам не рассказывал — ни мне, ни родителям. Меньше знаешь, крепче спишь! Понятно ведь, что было на совести у этих людей и чем они промышляли, даже здесь, в этой мирной и такой прекрасной стране. Неудивительно, что брата интересовала судьба нацистских преступников и их новые связи, весьма разветвленные и тянувшиеся весьма высоко. В то время

ходило много слухов об их тайных лагерях на севере Аргентины, в непроходимой сельве, очень удобной для конспирации. Понятно, что это не могло не разжечь любопытства и фантазии писателя. Я много раз пыталась у него дознаться, что такого интересного рассказывает ему полковник, но он уклонялся от разговоров на эту тему, отвечая, что ему для будущих романов это пригодится... — «А вот тебе впору думать о балах, а не о свихнувшемся полковнике...». Я обижалась но, повзрослев, поняла, что он меня просто оберегал — компания ведь была отнюдь не потешная.

В общем, этот Клименко (или Кривенко, я все время путаю, поскольку одна из этих фамилий фигурирует в романе «Южный крест»), желая понравиться Юрию Григорьевичу, не только потчевал рассказами, но даже умудрился познакомиться его с местным партайгеноссе, лидером аргентинских нацистов — очень влиятельным и очень опасным типом. Вот это уже было серьезно и по-настоящему опасно. Но, к счастью, как раз в это время началась недолгая, зато довольно бурная (как положено в Латинской Америке) революция. Армейская элита подняла увенчавшийся успехом мятеж против президента Перона, в результате чего нацисты были объявлены вне закона, и любопытству моего брата, волей-неволей, был положен конец. Говорю «к счастью», потому что эти местные нацисты были куда серьезней и опасней нашей эмигрантской группировки генерала Хольстона и полковника Клименко. Кстати, уж они-то наверняка знали, где скрываются беглецы третьего Рейха и кто именно...

Что же касается этой революции, то она у них получилась очень красочная, эмоциональная и даже романтическая. Мятеж возглавил некий генерал Лонарди, аристократ с безупречной репутацией и, видимо, романтик. В ночь перед восстанием он молился в главном соборе Буэнос-Айреса и, как знак чистоты своих намерений, посвятил свою шпагу Деве Марии. В то время в парадной форме морских офицеров, от кадетов до самых высших чинов, обязательно имелась шпага, как теперь — не знаю. За ним восстала вся армия, и Перон был изгнан из страны. Но, конечно, без шума и крови не обошлось, верные президенту части все же пытались сопротивляться. Были

в Буэнос-Айресе и бои, и самолеты, и обстрел Розового Дома (это резиденция президента), и массовые уличные беспорядки, и даже очереди за хлебом, что для аргентинцев было делом неслыханным. Но длилось все это недолго, недели две, может месяц, точно уж не помню. Потом все утряслось, Лонарди стал президентом, но ненадолго. Свою роль он сыграл, а для политики с ее интригами, видимо, не подошел. Мы, эмигранты, наблюдали все это с интересом, но как сторонние наблюдатели, по-настоящему нас это не касалось, и Юрий Григорьевич совсем загрустил. «Это очень печально, — говорил он, — когда происходящее в стране тебя не касается, когда ты всего лишь наблюдатель, эмигрант». Хотя, разумеется, это был его выбор, если бы он захотел, то мог бы принять подданство и сделаться настоящим аргентинцем, и никто бы не попрекнул его прошлым, но он слишком тосковал по родине, а потому предпочел оставаться наблюдателем...

Ну что еще можно сказать о его жизни в Аргентине? Мы все вращались в своем замкнутом кругу русской колонии, благо нас там было очень, очень много, и, как я уже говорила, жизнь пытались вести активную, временами даже бурную — большей частью на почве политики. Были у нас и свои интриги, скандалы и прочие хитросплетения, но, увы, моему брату все это казалось как бы некоей игрой, чем-то не совсем настоящим, как он говорил, и это лишь увеличивало его печаль. Были у него хорошие знакомые и среди аргентинцев: несколько студентов и один очень интересный профессор, некто Гоженече, преподававший в университете Буэнос-Айреса то ли философию, то ли историю, уже запаматовала. Происходил он из какой-то хорошей семьи, образование получил в Европе и был человеком очень умным, эрудированным, отличавшимся к тому же подчеркнутой изысканностью манер и страстной любовью к испанскому фольклору, особенно к пению и танцам. Но в общении был прост и демократичен, любил собирать у себя в доме своих студентов, обычно на всю ночь, где вел с ними увлекательные дискуссии на самые разные темы. Юрий Григорьевич студентом не был, и, конечно, не мог бы получить приглашение, если бы не наша кузина Галина, дочь моей репрессированной тети

Ани, которая жила у нас и вместе с нами была вывезена в Германию, потом в Бельгию, в Брюссель. Как я уже писала, девица она была энергичная и самостоятельная, очень скоро, по рекомендации кого-то из эмигрантов, устроилась на работу в католический монастырь, кем-то вроде няни для младших воспитанниц. Там она приняла католичество, в память отца, который был чехом, а значит католиком, и с помощью своих монахинь поступила учиться в университет. А помощь заключалась в том, что ее познакомили с богатой, бездетной бельгийской парой (он был фабрикант), полагающей своим христианским долгом тратить свои деньги на помощь нуждающимся. Поэтому они взяли себе, как бы на воспитание, двух молодых поляков (тоже из перемещенных лиц) и Галину, они все были одного возраста. Подготовили и помогли получить высшее образование, какое кто выбрал. Жили они все у них в доме, на полном обеспечении, и относились к ним по-отечески. Поэтому, когда мы собрались в Аргентину, она решила остаться в Бельгии. Далее, окончив учебу, она была послана на практику в Париж, в Сорбонну, и там познакомилась с молодым испанским профессором философии Константином Ласкарисом, который приехал из Мадрида прочесть там цикл лекций по философии. Галина была хороша собой, но, главное, славилась в Сорбонне своей скромностью и неприступностью. К тому же была умна. Увидав ее, профессор был сражен и очень скоро сделал ей предложение. Человек он был очень приятный, внешне настоящий испанец, стройный, со жгучими черными глазами и прекрасными манерами. Он ей понравился, и она вышла за него замуж, после чего с изумлением узнала, что супруг ее происходит из королевского греческого рода Комнинов и носит титул герцога Синопского. Кстати, супруги Морэн (ее опекуны) приготовили ей приданое, все, что положено иметь невесте, вдобавок чудесное подвенечное платье, после чего, вместе с молодыми поляками (которые, также получив высшее образование, теперь где-то трудились по своим специальностям), отвезли ее на собственной машине в Мадрид (она там выходила замуж), присутствовали на венчании, и, вручив ее супругу, отбыли в Брюссель. Сказочная история, не правда ли?

Супруг Галины и наш аргентинский профессор, как оказалось, учились вместе, кажется, в Париже, состояли в дружеских отношениях и вели переписку, из которой Гоженеч знал о женитьбе Константина и его новой русской родне. Поэтому, когда Константин попросил его познакомиться с Юрием Григорьевичем, как с братом своей жены, и буде тот захочет поступить в университет, оказать ему всяческое содействие, он откликнулся немедленно, самым любезным образом, и, конечно, пригласил Юру бывать у него в доме на этих студенческих посиделках. Тратить время на университет брат не захотел, поскольку был поглощен политикой, а главное литературой, поэтому он поблагодарил и отказался, но приглашение принял и часто, с интересом, у него бывал. Там у него появились приятели-аргентинцы, о которых я говорила, и там же он познакомился с племянником князей Радзивиллов, молодым красавцем Яном Геймом, тоже довольно любопытной фигурой. Они эмигрировали в Аргентину после войны, а ранее жили, кажется, в Австрии. Родители Яна погибли, и его воспитывала тетка. Он прекрасно говорил по-русски и почему-то прилепился к Юрию Григорьевичу, охотно бывая на всех русских вечерах, балах и концертах, видимо сказывалось родство славянских душ. Мы с братом тоже бывали у них в доме, он жил у тетки, где было огромное, шумное семейство, с кучей детей и расслабленным дядюшкой, который уже мало что соображал, однако не упускал случая ущипнуть пробегающую мимо молоденькую горничную. Все это было любопытно, да и с Яном было интересно общаться. Не знаю, каков он был как человек, но образован и воспитан был превосходно, а это уже приятно. Впрочем, наша белая эмиграция была воспитана не хуже, а может даже еще и лучше, ведь они принесли с собой и сумели сохранить кусочек старой России.

И вот забавное наблюдение: новые, послевоенные эмигранты, пообщавшись с ними, нередко и сами приобретали хорошие манеры, а то и лоск. С нами на пароходе в Аргентину плыли два паренька, бывшие солдаты Красной Армии, один из шахтеров, другой из колхозников, совершенно простые, неотесанные парни. И вот года через три их уже было не узнать. Бывший шахтер, пристрастившись к чтению, стал

интересным собеседником и страстным поклонником Достоевского, а бывший селянин сделался светским львом, как его называл Юрий Григорьевич. Он умел впорхнуть в гостиную с ворохом самых свежих и даже скандальных новостей, расцеловать дамам ручки, наговорив при этом кучу приятнейших комплиментов, и все это очень умело, в меру. Между прочим, когда мы потом собрались возвращаться в Россию, он был возмущен больше всех, и, встречаясь в церкви, был холоден как лед, а Гриша загрустил (он часто у нас бывал как друг дома), пытаюсь понять такой странный выбор, но так и не понял.

Хорошо помню Игоря Андрушкевича, он был из первой «волны», его отец был офицером и покинул Россию вместе с Добровольческой армией. Игорь родился уже где-то на Балканах, и, кажется, учился в Русском кадетском корпусе, выправка у него была военная, а характер волевой. Он был хорош собой, стройный, высокий, весьма уверенный в себе молодой человек (примерно одного возраста с Юрием Григорьевичем). Насколько помню, он тоже участвовал в работе НТС и часто у нас бывал. У него были две младшие сестры, Людмила и Елена, отец их к тому времени уже умер, и, став главой семьи, Игорь держал своих сестер в абсолютном повиновении. Какое-то время они с Юрием Григорьевичем были в дружеских отношениях, но потом несколько охладели друг к другу.

Запомнилась мне еще забавная пара близнецов, некие братья Дранниковы (как и мы, из остарбайтеров), над шалостями которых потешалась вся колония. А суть заключалась в том, что были они абсолютной копией друг друга, даже родители с трудом их различали, чем они успешно пользовались как в своих любовных похождениях, так и на работе, доводя своего хозяина до прединфарктного состояния. Бедняга никак не мог разобраться, с кем из них он только что вел разговор и почему, отбив на его же глазах с поручением, он вдруг через пару секунд снова объявляется перед ним, утверждая, что все сделано в лучшем виде. Потом эти братцы-шалуны открыли свое дело, кажется строительное предприятие, и со временем очень разбогатели.

Помню еще очень милое семейство Задорожных, маму с двумя дочерьми Надеждой и Ларисой. До войны они с родителями (тогда еще у них был отец) жили где-то в Китае, кажется вблизи от Манчжурии. Как туда вторглись наши советские войска, я, признаться, подзабыла, но факт в том, что их отец был тут же арестован (он работал на КВЖД) и посажен в концлагерь. Их матери, вместе с малолетними дочерьми, каким-то образом удалось ускользнуть, а после войны эмигрировать в Аргентину. Когда мы познакомились, Надя была уже моего возраста, а Лариса — лет пятнадцати. Надя стала нашим очень хорошим другом и высоко чтит «писателя», так она называла брата. Она была умна, энергична, с очень милым, веселым и никогда не унывающим характером. Когда мы покидали Аргентину, Надя была в числе наших немногочисленных провожающих. Уже после нашего отъезда она вышла замуж за Николая Николаевича Арсеньева, эмигранта первой волны, до «войны» жившего в Польше. Потом мы много лет с ними переписывались. Сестра ее Лариса вышла замуж за Петра Ткачева (тоже из старых эмигрантов) и укатила в Штаты. А потом, уже году в восьмидесятом, вдруг здесь в Ленинграде объявился отец этих девочек (его как-то разыскала их мать, они стали переписываться, и дали ему наш адрес). Но, увы, слишком поздно. Папа Задорожный, отсидев свой срок в лагерях, вышел, и, не зная куда податься, и не надеясь воссоединиться с семьей, женился. Его вторая жена оказалась родом из Ленинграда, да еще с жилплощадью. Вот так он появился у нас, с огромной печалью расспрашивая о своей первой семье.

А далее Лариса с мужем и уже двумя детьми вдруг загорелись жадной вернуться на свою историческую родину и встретиться с отцом, о котором всегда мечтали. Они вернулись, встретились, попытались найти свое место и как-то прижиться, но из этого ничего не вышло. Детей в школе обижали, дразнили буржуями, Петр Ткачев (который, кстати, был прекрасным инженером) был в ужасе от нашего неумения работать, а Лариса пребывала в трансе от российского быта и пьянства. Так, промаявшись здесь около года, они простились с отцом и с облегчением вернулись в Штаты.

Вообще любопытных персонажей там было на любой вкус. Был там еще один католический священник, прекрасно

говоривший по-русски, который (видимо, неся послушание) опекал русских эмигрантов (какой национальности был он сам и как его звали, не помню), и когда один из его подопечных сильно обгорел, отдал для пересадки свою кожу, чем его и спас.

И совсем уже из другой оперы... почему-то вспомнился сейчас некий Кока Асеев, «развратный старик», так он именовался. Каково было его настоящее имя и откуда он вообще объявился, не знал никто. Так же не понятен был его возраст, род занятий и к какой «волне» эмиграции принадлежит. Маленький, тощий, с крашеными, аккуратно разложенными по лысоватому черепу волосами и танцующей походкой, Кока слыл дамским угодником, разбившим не одно сердце, и надо сказать, поддерживал эту репутацию умело и весьма успешно. Он не пропускал ни одного бала, вечера или концерта, бывая везде, даже на обычных клубных встречах, причем в любой день. Непонятно, работал ли он где-нибудь? Появлялся он всегда тщательно одетый, напомаженный, надушенный, на минуту останавливался в дверях, окидывая орлиным оком присутствующих дам (к девицам он интереса не проявлял) и, выбрав приглянувшуюся чаровницу, с восторженным воплем бросался к ее ногам в буквальном смысле и потом уже не отходил от нее целый вечер. Причем не сидел и не стоял рядом, а лежал на боку, прямо на полу, спиной слегка касаясь ее ног и, картинно подперев голову одной рукой, другой рассылал воздушные поцелуи остальным дамам. Его появление всегда вызывало легкий переполох, смех и шутливые попытки поднять Коку с пола. Но Кока не поддавался и, в конце концов, его оставляли в покое, посмеиваясь и пожимая плечами — «Ну, что вы хотите? Это же Кока! Развратный старик...».

Такова в общих чертах была наша светская, или общественная, не знаю, как лучше сказать, жизнь. Но это отнюдь не значит, что жизнь эта была легкой или тем паче сплошным праздником. Работать всем приходилось много и часто очень тяжело. Молодежи в нашей колонии было много и, как правило, они помимо работы еще учились. С этим там было просто, любой мог прийти в университет и записаться, не сдавая экзаменов, зато в первый же год с него требовали по

полной программе, и если он заваливал сессию, отчисляли без разговоров. Было ли это обучение платным, я, к сожалению, не помню. Но если судить по тому, что учились все, кто хотел, то, видимо, это не представляло особой проблемы.

Расскажу про нашего знакомого юношу, некто Густава Лундберга, кстати, родом из Ленинграда и с похожей судьбой — он в 1941 году в начале июня был отправлен матерью на каникулы к родственникам на Украину, но началась война, блокада... а в 43-м его, как и нас, прихватили немцы, он стал остарбайтером в Германии, и они с матерью потеряли друг друга на много лет. Так вот, в Аргентине Густав, работая на большом заводе электриком, заключил взаимовыгодный договор: завод оплачивал ему учебу (он учился на медицинском факультете), причем он мог пользоваться свободным для учебы временем по своему усмотрению, а за это, получив диплом врача, он должен был несколько лет отработать у них на заводе врачом. Обе стороны выполнили свои обязательства, и он стал прекрасным врачом. Потом, когда мы уже были здесь, нам писали знакомые, что Густав перебрался в Штаты, там сделался известным детским врачом и даже умудрился выписать из Советского Союза свою мать.

Ну, а Юрий Григорьевич ставил себе другие задачи и потому от предложения Гоженече отказался. Одно время он работал электромонтером на шоколадной фабрике, и там ему приходилось ремонтировать какие-то огромные чаны для варки шоколада. Причем налаживали эти чаны еще не совсем остывшими, и это при сумасшедшей жаре (40–44 градуса в тени), и так каждый день. Приходил он, бедный, домой совсем измученный, даже есть не мог, только пил холодную воду с лимоном. Но ни разу, как бы ему не было трудно, я не слышала, чтобы он жаловался или раздражался, а уж чтобы нагрубить кому-то — никогда! Вот такой он был человек, недаром моя мама, уже в 72 года, сказала о нем, что за всю свою жизнь, с самого детства, он ее ни разу ничем не огорчил и не обидел. Он был истинным благословением для своих родителей и для меня. Всю жизнь мама благодарила Господа за такого сына, я не преувеличиваю и не приукрашиваю, Бог свидетель, таким он и был. Сейчас подумала, не писала ли я уже об этом? Если да, то простите.

Последние годы он работал на какой-то огромной стройке, фактически инженером-электриком, его там очень ценили. Там, конечно, было намного легче, но все равно работал он много, а по вечерам писал, уже стараясь ни на что не отвлекаться, только по воскресеньям выезжал в церковь, и еще, когда назревал очередной бал, вывозил в свет меня. Думаю, читатель вправе спросить, а как же личная жизнь, неужели не было романов? Были, конечно, но это сугубо личное дело, и я могу их коснуться лишь мимоходом, как бы со стороны. Женщинам он всегда очень нравился, но сам в этом вопросе был очень требователен, и потому все его увлечения обычно кончались или разочарованием, или вмешивалось чувство долга. Оба его серьезных романа были с девушками по имени Ксения, обе из белой эмиграции, приехавшими в Аргентину уже после 1950-года. Ксения Мазораки — небольшого роста, очень тоненькая, с густыми черными локонами по плечам и огромными серыми глазами, очаровательное создание лет 19-ти, с прекрасным голосом. Пела она чудесно, обычно русские народные песни или романсы, доводя слушателей до слез. К тому же, она была тоже членом НТС, так что у них было еще и много общего. Роман их развивался стремительно, все шло к браку, но тут стало известно, что у Ксении в Европе остался жених, забрасывающий ее письмами, упрекающий в нарушении слова и угрожающий покончить с собой. Ее мать встала на сторону жениха, требуя немедленно вернуться в Европу и выполнить данное обещание, а Ксения билась в истерике, не желая никуда уезжать. В общем, разразился скандал, и тогда брат сделал выбор сам. Он решил, что не имеет права толкать ее на измену, и порвал помолвку.

А с Ксенией Монтшталлер он познакомился позже, во время его первого романа она еще училась где-то в Европе. Эта девушка была совсем другая. Выше среднего роста, светловолосая, прекрасно сложена и очень красивая. Но, к сожалению, избалованная и капризная. Роман у них длился не менее года, и намерения обоих были самые серьезные, но тут ей захотелось проявить свою власть, она стала капризничать, а Юрий Григорьевич этого не любил. Наверное, пошел в деда Беденко, который еще до встречи с бабушкой был безумно влюблен в какую-то девицу, но когда она позволила себе

какой-то каприз, тут же с ней порвал. Вот так случилось и с братом. Правда, сначала он пытался объяснить ей свою позицию, она не поняла, и тогда он с ней расстался. Через год ее выдали замуж за какого-то богатого русского бизнесмена на Мадагаскаре. Наша знакомая, которая у них бывала, потом рассказывала маме, что Ксения всячески противилась и, обливаясь слезами, твердила, что все еще любит Юрия, но родители настояли...

Впрочем, я забыла еще один его роман. Речь идет об одной из сестер Игоря Андрушкевича — Людмиле. Это было тихое, кроткое создание с длинными белокурыми локонами, хорошенькая, милая, но полностью покорная воле своего старшего брата. А тот, я так и не поняла почему, решительно воспротивился ухаживаниям Юрия, запретил им встречаться, и она подчинилась. Никакой уважительной причины не было, я ведь уже упоминала — они с братом до этого даже считались хорошими друзьями, и почему он принял такое решение — осталось тайной. Юрия Григорьевича все это, конечно, удивило и обидело, но он не стал ничего выяснять, а просто отступился.

Ну вот, полагаю, в общих чертах это дает представление о его личной жизни, ибо он отнюдь не был сухарем. Обретя свободу, которая, я это видела, далась ему нелегко, он еще больше ушел в литературу. В свет выезжал только по необходимости, как я уже говорила — вывозил меня на балы. Я так хорошо помню его... элегантный, подтянутый, в смокинге, белоснежной рубашке, с бабочкой — он сидит за столиком, общается с приятелями, а сам наблюдает, как и с кем я танцую...

Возвращение

Время шло, и, наконец, наступил судьбоносный для нас, пятьдесят шестой год — XX съезд и знаменитый доклад Никиты Хрущева о культе личности. Мы сразу поняли всю важность этого события, да и не только мы. Во всем мире это стало настоящей сенсацией, и недооценить ее трудно. Это было уже второе радостное событие после смерти Сталина, и мы радовались, разбирая этот доклад чуть ли не по

буквам, конечно, по старой русской привычке спорили до хрипоты. Некоторые даже начали строить планы. А Юрий Григорьевич, особенно не споря, просто ждал, и, как оказалось, не напрасно.

В Буэнос-Айресе в те годы жила некая Наталья Андреевна Сосновская, еще из первой, белой эмиграции, у которой была частная библиотека и свои постоянные читатели, этим, кстати, она и жила. Конечно, среди них был и Юрий Григорьевич, как она говорила, ее самый любимый читатель. Отношения у них действительно были очень дружеские, и он часто засиживался у нее в библиотеке, за чашкой чая и разговорами. Дама эта почему-то слыла «розовой», т.е. просоветской, хотя советской она была лишь относительно, но и этого было достаточно. Его дружбу с ней осуждали. И вот в самом конце пятьдесят шестого года Сосновская позвонила Юрию Григорьевичу и попросила прийти, добавив, что это очень важно. Встретила она его смущенно, долго не зная, как начать разговор, и, наконец, призналась, что уже давно свела знакомство с представителями советского посольства, в частности с неким Гармашовым (если не ошибаюсь, он был послом), который и попросил ее свести их с Юрием Григорьевичем. Она ответила, что без согласия Юрия Григорьевича пойти на это не может, и вот теперь все это рассказала брату. Он, конечно, насторожился, но сказал, что подумает. Домой вернулся очень взбудораженный и скрывать от нас ничего не стал. Отец поначалу очень испугался и стал просить брата никуда не ходить, не встречаться с этими людьми ни в коем случае. «Вспомни-ка, на что они способны! — уговаривал он. — Вспомни, как ловко они умеют выкрадывать людей!». Но брат возразил, что, будь у них подобное намерение, они бы не стали просить Сосновскую о встрече. При желании похитить можно очень легко прямо на улице. А потом засмеялся: «Нет, но какова наша Наталья Андреевна! Недаром наши “зубры” ее подозревали,— и, посмотрев на меня, добавил: — Смотри, не проговорись, не то ее, беднягу, совсем заклюют».

Юрий Григорьевич согласился на свидание не сразу, слишком мы привыкли не верить любому представителю советской власти, но потом все же решил, что время уже не то

и что теперь ИМ не выгодно действовать старыми методами. Отца ему тоже удалось успокоить, после чего он позвонил Сосновской и сказал, что согласен. Встреча с Гармашовым и его помощником состоялась в каком-то маленьком загородном ресторанчике, видимо в целях конспирации, и длилась долго, почти до утра. Как брат и предполагал, ему предложили вернуться, заверяя, что теперь, после доклада Хрущева, к прошлому возврата не будет, и он может вернуться, ничего не опасаясь. «Мы следили за вами все эти годы, — говорили они, — вы талантливый человек, Юрий Григорьевич, блестящий журналист, и нам известно, что вы написали роман, хотите стать писателем, но что такое писатель-эмигрант? Возвращайтесь, стране такие люди нужны!».

Разумеется, он ответил, что подумает, посоветуется с отцом, и если нужна будет новая встреча, передаст через Наталью Андреевну. Вернулся он в полной растерянности, а мы в эту ночь не спали, ждали его возвращения. В общем, покой наш был окончательно нарушен — предстояло принять решение, от которого зависела вся наша судьба, а возможно, и жизнь.

Они встречались еще несколько раз, они ему рассказывали о Союзе, он слушал, а потом все думал, думал... Как он потом, уже здесь, в России, признался, его останавливало чувство ответственности за нас. Сам бы он не колебался, настолько велика была его тоска по родине. Но каково придется нам, он не знал, и это его пугало. Мы понимали его метания и потому поддержали в его желании вернуться. Но, прежде чем принять окончательное решение, встретившись в очередной раз с Гармашовым (а встречались они каждую неделю, в маленьких ресторанчиках в каком-нибудь из пригородов, уж очень им хотелось его заполучить), Юрий Григорьевич счел нужным уточнить свою позицию: «Я никогда не смогу симпатизировать коммунистической идеологии, но если я решу вернуться, то и вредить не буду». Они же, в свою очередь, заверили его, что прекрасно его понимают и ничего подобного от него и не потребуется. И тогда, приняв, наконец, решение, Юрий Григорьевич подал документы на репатриацию, очень быстро получил разрешение из Москвы, и мы стали готовиться к отъезду. Происходило все это уже в начале 1957 года...

Репатриировались мы втроем, брат и мы с мамой. Отец решил задержаться, у него же на руках была фабрика, итальянские рабочие, которые подняли крик, когда узнали, что он намерен продать дело и уехать. «Дон Грегорио, вы сошли с ума! — вопили они, приходя в ужас от одного упоминания о Советском Союзе, — а что же мы, о нас вы подумали?!». Конечно, приходилось думать. Как говорил мой отец, капиталистом быть не просто и очень ответственно, недаром же его так любили рабочие. Поэтому он остался и вернулся только через два года. Подозреваю, что, помимо дел, у него была тайная мысль подстраховать сына. Оставаясь на Западе, он всегда имел возможность поднять в прессе шум, буде с нами случится что-либо плохое. Думаю, это было разумно.

Последние месяцы перед отъездом мы жили как затворники, поскольку наша русская колония была возмущена столь «неприличным» выбором Юрия Григорьевича, и бывали мы только в церкви и в библиотеке у Сосновской. Ну и еще — у аргентинских друзей, которые относились к его выбору гораздо терпимее, хотя и с опаской, старательно напоминая нам, что коммунизм останется коммунизмом, в какую бы шкуру ни рядился.

А потом наступил день отплытия, и это было очень грустно. Мы понимали, что нас ждет неизвестность, полная риска, мы к тому же покидали гостеприимную страну, от которой видели только хорошее, и конечно, друзей. Пусть их оставалось немного, но они были, а как говорит пословица: всякая разлука — это маленькая смерть. Нас провожал отец, семеро друзей и кто-то из посольства. Кто именно — не помню, они тактично держались в тени, хотя пароход (со странным названием «Рионгэс») был наш, и они были там хозяевами. Был самый конец марта, начало осени в Аргентине, день яркий, солнечный, теплый, и город словно купался в нежной, розоватой дымке. Мы стояли на палубе, улыбаясь остающимся, которые что-то кричали, размахивая руками; и вот уже задрожала под ногами палуба, пароход начал свое движение, и расстояние между нами стало медленно, но немолимо расти. А потом, когда растаяли вдали последние очертания порта и мы вышли из устья Ла Платы, я спустилась в

нашу каюту и разрыдалась, видимо предчувствуя, что мы и на родине будем эмигрантами, с той только разницей, что в Аргентине нас воспринимали дружелюбно и без подозрений...

В России

Плаванье наше было благополучным, и в конце апреля мы, наконец, прибыли в Ленинград. День этот пришелся на Великую Субботу, на Пасху, и Юрий Григорьевич счел это счастливым предзнаменованием. Он был счастлив, с жадностью впитывая в себя новые впечатления, а я, если честно, вся сжалась от этих впечатлений, настолько мне показалась мрачной наша северная столица: по рассказам и книгам она мне виделась другой. Нас встретили представители органов, устроили в специальной гостинице для репатриантов, и там мы какое-то время проходили фильтрацию. Но это было недолго, скорее, для проформы. Они и так все о нас знали, ну а чинить какие-либо козни, слава Богу, не стали, выдали документы, деньги на дорогу и на расходы на первое время и разрешили отправляться по месту жительства, где нам предлагалась жилплощадь.

Кроме Москвы и Ленинграда, мы имели право выбрать для жительства любой город Союза, мы выбрали Воронеж, даже не помню почему, наверное, он нам показался чем-то исконно русским.

И вот в середине мая мы тронулись в путь через Москву, в наш Воронеж. Погода в тот год стояла жаркая, и Москва мне показалась очень пыльной, особенно я не могла понять, почему такая пыльная зелень на деревьях. Буэнос-Айрес — огромный современный город, жара там намного больше, а зелень стоит как умытая. Потом сообразила — наверное, сказывается близость океанских просторов. День мы провели в Москве, побегали по городу, посмотрели, что смогли, и вечером сели в поезд на Воронеж. Денег у нас было в обрез, поэтому билеты были плацкартные, и тут я впервые окунулась в нашу российскую экзотику. Вагон был забит странным людом, среди которого было много пьяных, орущих нечто невразумительное, да еще полуголых, поскольку было жарко. Особенно один произвел на меня жуткое впечатление.

Он был в сандалиях на босу ногу, потный, в грязной майке и весь в татуировках, причем по обе стороны груди красовались Ленин и Сталин, а на спине Спасская башня и какие-то лозунги — ужас! Приятного было мало, а вот Юрий Григорьевич оставался в добром расположении духа, хотя, скорее всего, он просто не показывал виду, желая нас подбодрить.

В Воронеже меня ждало новое потрясение. Мало того, что город показался мне уныло-бесцветным, он еще буквально был наводнен какими-то бабками, а частично и дедками, видимо из окрестных колхозов, причем совершенно неопределимого возраста. Но больше всего поражало то, что, несмотря на жаркую погоду, они все были одеты в серые ватники, в серые валенки, а на головах такие же серые теплые платки или серые ушанки. Причем за спиной у каждого серый мешок или котомка, иногда выдавший виды рюкзак, судя по всему, набитый товарами, а в руках непременно авоська с бутылками водки, селедкой и палками колбасы, да еще у многих на шеях, словно бусы, красовались связки бубликов. Они бегали по городу озабоченные, хмурые, то и дело затевая между собой шумные драки, или отдыхали со своими авоськами возле серых щербатых урн для мусора, сидя прямо на грязном тротуаре, вытянув ноги и привалившись спиной к урне.

На первое время нас поселили в гостинице, и на другое утро меня ждало новое тягостное впечатление: я проснулась от мрачной похоронной музыки за окном, подбежала посмотреть и похолодела — прямо под нашими окнами двигалась похоронная процессия, причем несчастного покойника везли на открытом грузовике, обтянутом кумачом, в таком же красном гробу, за ним шли провожающие в кепках, о чем-то спокойно переговариваясь, а сзади музыканты с огромными золотисто-желтыми улитками в руках, в которые они время от времени усердно дули, оглашая улицу заунывно-жуткими звуками. Я понимаю, подробности эти к делу не относятся, просто вспомнилось, слишком уж все это меня тогда потрясло. Слишком велик был контраст по сравнению с Аргентиной...

В это же время мы еще успели побывать в Ростове-на-Дону, устроили себе такую маленькую эскападу,

решили посмотреть, не лучше ли там. Там было отнюдь не лучше, и мы немного приуныли, не зная куда деваться, но, слава Богу, в адресном столе успели на последние копейки найти адрес дяди Павла. Это был родной брат отца, тихий, очень кроткий человек, только внешне похожий на волевого и даже немного грозного старшего брата. Представляю его испуг, когда ему на голову вдруг свалилась такая экзотическая компания, мы ведь и по одежде очень отличались, недаром рабочие на вокзале иронично именовали брата: «мистер Твистер».

Денег к этому моменту у нас уже не было, мы все проездили, и последней надеждой оставался дядя. Он нас не подвел, принял очень сердечно и гостеприимно. Он и его жена Мария все больше молчали, глядя на нас с немым изумлением, время от времени тихо повторяя — «а мы-то считали вас давно погибшими...» Мы прогостили у них неделю, убедились, что Ростов ничем не лучше Воронежа, и отправились в местное управление КГБ, в котором нам все равно положено было отметиться. Там мы заявили, что хотим вернуться в Воронеж, но денег для этого не имеем. Нас принял молодой и вполне дружелюбный кагебист, посмеялся — «И чего это вы шатаетесь по стране как цыгане?», но денег на проезд выдал, и мы, наконец, снова вернулись в Воронеж. Сначала мы проживали в гостинице, которую нам оплачивали, а через пару месяцев вручили ордер на однокомнатную квартиру. Но мы и этому уже были рады. В это же время Юрий Григорьевич напечатал в воронежском журнале «Подъем» свой очерк «Серебряная республика без позолоты», и это дало нам возможность кое-как перебиваться.

И, разумеется, он продолжал все свободное время работать, за то первое свое лето в России написав «Джоанну Аларику».

Вот так началась наша жизнь на родине. Мне она давалась очень трудно, и я долго не могла в нее вписаться, да, пожалуй, по-настоящему так и не вписалась. А вот Юрий Григорьевич, несмотря на очень серьезное разочарование, не жалел о своем выборе, полагая, что место писателя на родине, какой бы она ни была. Зато наши люди, как ни странно (или наоборот — понятно?), явно так не считали. Слишком

уж часто его спрашивали, особенно в компании, когда немного выпьют: «Скажи, Слепухин, ты кто такой? Дурак или стукач? Чего тебя сюда принесло?!» Он только посмеивался и спокойно отвечал: «Что не стукач, это мне известно, а дурак ли? Не знаю... выбирайте, кому что больше нравится...».

Братья-писатели, за редким исключением, его просто не приняли. Возможно, они его просто не понимали... поди разберись! А читатели его как раз приняли и очень любили, ждали его книг, забрасывали письмами. Успех его сочинений был огромный, они раскупались в один-два дня, и это при тех тиражах в тридцать, а иногда и сто тысяч экземпляров. Впрочем, в то время это было немного — «своих» печатали миллионными тиражами, несмотря даже на то, что многие оставались на полках, но это были «свои»!

Уже тогда вокруг него составилась «заговор молчания». Наши властные структуры (а значит, и критика) практически не замечали его книг, поскольку он никогда не писал по заказу. Они понимали, что стоит о нем заговорить, официально признать его огромный талант, и он по праву станет одним из первых писателей в стране. Поэтому они выбрали «заговор молчания» — убийственный для писателя, верно рассчитав, что так они заставят о нем забыть, и на какое-то время им это удалось. После событий в Чехословакии в 1968 году его 10 лет не печатали. Надо понимать, это было скрытой мстью за его инакомыслие. А поводом послужила его ссора с редактором Лениздата Лидией Плотниковой. Он отказался в «Часе мужества» (завершающий роман его тогда еще трилогии о войне) изменить по ее указке сюжет, разве не бред? Как мы выжили в таких обстоятельствах, один Господь знает...

Ну, а писатели, как я уже сказала, тоже его замалчивали. Почему, не знаю, мне такое трудно понять, ведь среди них было достаточно порядочных людей. Возможно, у кого-то было сознательное, а у кого-то подсознательное чувство соперничества, а возможно, он был для них слишком уж не своим, непривычным, странным. Он всегда был внутренне свободен, это бросалось в глаза, и, видимо, это казалось подозрительным. В лучшем случае его абсолютно не понимали и предпочитали держаться от него в стороне. Недаром его

прозвали князем Мышкиным, а что такое для советского человека князь Мышкин?..

Юрий Григорьевич все это отлично понимал и тоже держался на расстоянии, предпочитая уединение и работу, и еще многочисленные встречи с читателями (которые тогда немного оплачивались Литфондом), что и позволило нам выжить. Между прочим, ему не доверяли не только братья-писатели, но и наши органы, поскольку продолжали за ним следить. И не только за ним, но даже и за его первой женой Татьяной Дмитриевной Новожиловой-Слепухиной. Он только пожимал плечами: «Придурки, я же дал слово порвать с политикой и не вредить... могли бы не тратить время!». Но ведь каждый судит по себе, не правда ли?

Помню один такой забавный эпизод, кажется уже в восьмидесятые годы: был такой ученый-библиограф Иван Мартынов (потом он уехал в Америку), который очень усердно уговаривал брата влиться в ряды диссидентов. Но Юрий Григорьевич был тверд — «это не мое, я в свое время все это пережил, но сейчас вижу свой долг в другом — политики приходят и уходят, книги остаются...». Диссидентом он не стал, но с Мартыновым знакомство поддерживал, и мы часто бывали на его городской квартире, в Ленинграде. Как-то раз Иван пригласил его «на интересного гостя» — какого-то итальянского искусствоведа или историка. Он пошел, и кончилось это полным абсурдом. Еще когда он только подходил к дому, то заметил, что на противоположном тротуаре дефилирует подозрительная пара молодых людей с рациями, и понял, что это уж точно «искусствоведы в штатском». Юрий Григорьевич удивился, но заинтересовался, за кем, собственно, слежка, за ним или за итальянцем, и зашел в квартиру. Это было вечером, они сидели, общались, ужинали, а в полночь в дверь позвонили, и объявилась эта самая пара плюс участковый, с проверкой документов. Документы проверяли внимательно, долго, потом спросили Юрия Григорьевича — какие у него отношения с иностранным подданным и давно ли он его знает, — «Да вот сидим, ужинаем... а познакомились часа три назад», и удивленно спросил: «Мы что-нибудь нарушили?». «Нет, что вы... но мы вынуждены задержать итальянского профессора,

поскольку он нарушает визовый режим...». И тут началась абсурдно-комическая сцена. Итальянец разволновался и, позабыв русский (на котором говорил медленно, подбирая слова), пытался объяснить на своем итальянском, вставляя какие-то непонятные сочетания слов, видимо принимая их за русские. Иван Мартынов ругался и вопил о правах человека, грозясь подать в какой-то международный суд. А представители органов бубнили что-то свое о нарушении сроков пребывания в СССР. Наконец, Юрий Григорьевич выяснил, что итальянцу полагалось покинуть Ленинград еще вчера, до 12:00, а он, вместо того, чтобы уже давно спать в поезде, продолжает находиться на территории города, да еще в квартире советского гражданина. «Хорошо, мы его сейчас проводим на вокзал», — предложил Юрий Григорьевич, но не тут-то было. Участковый и представители органов твердо заявили, что сделают это сами, поскольку отвечают за безопасность иностранного гражданина.

Так что надзор был, и весьма бдительный. Счастье, что времена уже были не те. А уж зачем было следить за его первой женой, вообще непонятно, никакого отношения к диссидентам она не имела, тихо занималась научной работой в одном из НИИ, и вообще к тому времени они разошлись: видимо, сказалась привычка.

Но вернемся к тем годам, когда его решили наказать за несогласие с редактором. Выживали мы с трудом, но не теряли присутствия духа, и Юрий Григорьевич работал по-прежнему много. Не печатали его 10 лет, а потом, только было снова начал печататься (это уже в конце Горбачевской эпохи), подошел 1991 год, наступила власть бизнеса, «деньги — любой ценой!», и настоящая литература стала не нужна. Но в 91-м он радовался, глядя на крушение коммунистического паскудства, на наш трехцветный Российский флаг, на возвращение Церкви ее прав. Зато потом все понял и загрустил, как-то заметив, что опоздал родиться: «кому в 21 веке будут нужны книги? Молодежь, скорее всего, вообще перестанет читать!» Сейчас на дворе уже 2012 год, многие наши люди почти не читают, а если читают, то что?.. Но, к счастью, сейчас опять появляется интерес к настоящей литературе, и к книгам Юрия Григорьевича — достаточно

зайти в Интернет и почитать отзывы современных читателей о его книгах.

Конечно, на родине ему было нелегко, ведь он понимал, что для всех остается чужаком, эмигрантом, кроме читателей, которые его понимали и любили. Он не получил при жизни заслуженного признания, но был человеком внутренне свободным и сильным, а потому не опускал рук, писал до последнего дня, даже когда был уже смертельно болен. И к «заговору молчания» старался относиться спокойно. А как-то раз, когда я стала этим возмущаться, он мне ответил: «Если подумать, то все справедливо, вернувшись в Советский Союз, я погрешил против совести, в какой-то степени пойдя на соглашение с властью, которую считал преступной. Да нет, если бы только преступной — эта власть была дьявольской! Так о каком же успехе после этого могла идти речь? Я его не заслужил». «Но ты же ничего плохого не делал! — завопила я, — так почему же не заслужил?» «Но я же принял их приглашение? Поверь, этого достаточно, за все приходится платить, и отсутствие успеха не самая большая плата!». Не знаю, был ли он прав, но привожу его слова как есть, потому что они очень верно его характеризуют, он всегда был очень строг к себе.

И второе, очень горькое его разочарование, заключалось в том, что он понял — России, той, о какой ему грезились, не существует. Большевикам действительно удалось создать совсем новую формацию именно советских людей, которых никак не назовешь «народом-богоносцем». Хотя, может быть, он им никогда и не был? Может, это была всего лишь наивная мечта наших славянофилов? Иначе чем объяснить, что в революцию они с таким восторгом отринули все, даже Бога? Не знаю, конечно, надежда остается до последнего, теплилась она и в нем. Вот его слова, (это он говорил уже незадолго до своего ухода) — «может, когда-нибудь, из нынешних полузатоптанных ростков все же пробьется нечто жизнеспособное, да беда в том, что для этого нужна Вера, нужна Культура, нужна Книга. Без этих составляющих России не возродиться, к несчастью, этого не понимают многие, ни тем более власть предрежащие. Одна надежда — за грех отступничества Россия заплатила столь безмерными страданиями, каких до того не знал еще ни один народ.

А страдание очищает, конечно, если оно осознано. Пока это незаметно, но со временем может сказаться и дать свои всходы. Ныне же мы имеем дело с начальным и потому самым гнусным, беспардонным капитализмом, иными словами — из огня да в полымя! Какая уж тут духовность?».

Увы, сколько лет уже минуло после этих слов, а эта начальная фаза все продолжается! Я понимаю, что при зарождении капитализма все страны прошли похожий период, но при нашей безумной истории все это может аукнуться куда сильней...

Вот меня опять занесло в сторону, зато вспомнилось еще кое-что: интересно, что бы сказали те, кто относился к Юрию Григорьевичу с подозрением, если бы знали, как наши посольские уговаривали его остаться за границей и работать на них? Причем, вроде бы и ничего особенного — всего лишь сообщать о настроениях в эмигрантской среде. Предлагали самые роскошные условия, с виллами в Швейцарии, на Лазурном Берегу, и где только ни пожелает — для него и для семьи, соответственно, и большие деньги. Он пришел, рассказал нам, и мы только посмеялись. Подозреваю, что многие сочли бы его идиотом... особенно в наши дни, когда ради богатства идут на самые чудовищные преступления. А наша сегодняшняя молодежь? Ведь для многих из них удовольствия и легкие деньги — это предел мечтаний! Они, скорее всего, сочтут мой рассказ сказкой, желанием приукрасить память любимого брата...

Таким образом, кроме короткого периода успеха, когда его книги издавались, он прошел свой путь на родине в бедности и незаслуженном забвении. Но он был жив, он был рядом, и мне эти годы вспоминаются как самые счастливые в моей жизни, он тоже ни о чем не жалел, повторю еще раз — трудностей и бедности он никогда не боялся.

Ну, вот я вроде бы записала главные вехи его жизни, кроме личной, уже здесь, в России. Но это я могу сделать лишь в общих чертах, подробнее же, если захотят, пусть напишут те, кто является не просто свидетелем. Я, кажется, уже писала, что из Воронежа мы перебрались в Ораниенбаум, кстати, тоже с приключениями, ибо нам поначалу, когда мы захотели обменять Воронеж на Ленинградскую область,

было отказано — репатриантам, мол, не положено. Юрий Григорьевич возмутился и послал телеграмму в ЦК, кажется, на имя генерального секретаря, с требованием соблюдать права человека. После этого его вызвали в Обком, пожурили — «зачем же сразу генеральному секретарю?», но разрешение на обмен дали.

Таким образом, в конце 1958 года мы переехали, меняясь с каким-то отставником, который через полгода после обмена вдруг накатал на Юрий Григорьевича донос за явно подозрительное стремление оказаться поближе к колыбели революции. Его снова вызвали в КГБ, по-моему, на Литейный, показали донос, но на этот раз не журили, а посмеялись и спросили: «чем вы ему так не угодили?». А суть была в том, что, переехав в Воронеж, этот бдительный гражданин вдруг стал требовать денег, о которых никто с ним не договаривался, и когда брат отказал, он решил ему напакостить по старому проверенному методу. Слава Богу, что времена уже были не те!

Итак, мы поселились в Ломоносове в коммунальной квартире, с двумя соседями, у нас было две комнаты, у них по одной. Соседи оказались невредные, один из них даже забавный — тоже отставник, некий мичман Яковлев. Огромный, с непомерным (от постоянных возлияний) пузом и детским любопытством ко всему новому. У нас тогда появились новые знакомые, ведь брату очень хотелось общения с людьми, и довольно часто бывали гости, а я была молода и очень любила танцевать. У нас было много пластинок с южно-американской танцевальной музыкой, а я ведь выросла в Аргентине, где учатся танцевать с малых лет, так что получалось это у меня очень хорошо. Я это знала и не заставляла себя просить. Поклонников моих танцев было много, среди них был и наш мичман Яковлев. Стоило мне начать танцевать, как тут же раздавался стук в дверь, и на пороге вырастал сосед, лихо прищелкивающий пальцами, видимо в подражание кастаньетам. После этого он усаживался в уголке, и время от времени восторженно сипел: «Эх, Парпуша... (он почему-то назвал меня Парпушей), ну дает Парпуша!». А Юрий Григорьевич смотрел и добродушно посмеивался.

Но это так, отступление... для колорита. Я уже не помню, откуда появились эти новые знакомые, кажется, их приводила одна журналистка, не могу вспомнить ее имени (вроде бы Люда), хотя прекрасно помню ее саму — небольшая, коренастая, некрасивая, зато очень энергичная и всей душой преданная партии и комсомолу. Юрий Григорьевич называл ее не иначе как «любимое дитя советской власти». Вот это дитя и познакомило его со студенткой Любой, фамилии не помню, очень красивой, статной, с чудесными, длинными русыми волосами и серыми глазами, с изумительно нежной кожей и великолепной фигурой. Девочка эта уже заканчивала учебу и ждала распределения. Она была по-настоящему хороша, и неудивительно, что между ними вспыхнул роман, правда, недолгий. Он сделал ей предложение, она согласилась, но поставила условие — жить отдельно, без родственников. На что он ответил, что для него это невозможно по многим причинам. На этом они и расстались, но он всегда вспоминал ее с уважением, отмечая, что она была с ним честна, заранее предупредив о своих планах.

После этого он надолго как бы потерял всякий интерес к этой проблеме, хотя возможностей у него было много, женщинам он очень нравился, и они этого не скрывали. Он весь ушел в работу и чтение, впрочем, как всегда. За это время я вышла замуж за своего кузена, Владимира Слепухина, он был начинающим художником и моим троюродным братом, наши отцы были двоюродные братья, поэтому у меня и осталась та же фамилия. В 1961 году родилась моя дочь Мария, но увы, это не скрепило нашего брака, через несколько лет мы разошлись, но это уже совсем другая история... В том же 61-м году умер наш отец, который вернулся за год до этого из Аргентины. Год этот — 1961 — запечатлелся в памяти именно смертью отца и рождением дочери...

В 39 лет Юрий Григорьевич наконец женился, на дочери профессора Новожилова, Татьяне Дмитриевне, очень достойной и милой девушке, а в 1966 году у них родилась дочь Ксения. В это время он издавался, и потому, устав от жизни в коммунальной квартире, а главное, собираясь завести семью, в конце 1964 года купил дом во Всеволожске, где и прожил до самой смерти. К сожалению, этот брак не сложился, через несколько лет они тоже расстались, так что

мы остались вчетвером, Юрий Григорьевич, я с дочерью и наша мать. А затем наступил год вторжения в Чехословакию, в издательствах стали закручивать гайки, его перестали печатать, и мы впали в великую бедность, лет на десять, не меньше. В 1973 году он встретил Наталью Александровну Шапарнёву, она была намного моложе его, но их это не испугало, и в конце декабря того же года они поженились, оставаясь вместе уже до самого конца. В 1986 году у них родился сын Глеб.

Дети Ксения и Глеб дружны, обе его вдовы пребывают в родственных и очень добрых отношениях, заслуживают самого огромного уважения и любви...

Хочу сделать одну поправку: когда я писала, что все писатели его сторонились, я немного погрешила против истины, вернее, забыла. Я могу назвать четверых, которых можно назвать друзьями. Один появился еще в Воронеже, писатель Борис Дальний (насчет Бориса могу ошибиться, но что Дальний, помню точно), уже преклонного возраста, по-моему, из «бывших», уж слишком хорошо был воспитан. Он очень любил Юрия Григорьевича, и они с супругой постоянно нас приглашали к себе по вечерам, на чай. Брат тоже к нему привязался, и можно сказать, что они подружились. Он много рассказывал о послевоенных годах, о братьях-писателях. Помню, в тех случаях, когда речь шла о не нравившихся ему собратях, он пользовался забавной характеристикой: «Понимаете, Юрий Григорьевич, к сожалению, он пишет левой ногой, и притом, в валенке...». Когда через год мы обменяли нашу квартиру на Ломоносов, бедный наш друг был безутешен. Потом, уже в Ленинграде, был некто Лихарев (если не напутала с фамилий, ведь это было так давно), который был ему настоящим другом и очень его ценил и любил. К сожалению, он рано умер, и это было для Юрия Григорьевича настоящим горем, ведь он тоже его любил и очень дорожил его дружбой. Был еще такой Марьенков, по-моему, редактор в издательстве «Советский писатель», бывший фронтовик, страдающий каким-то тяжким недугом, человек простой и дружелюбный. Он тоже воспылал к Юрию Григорьевичу большой симпатией и постоянно пытался вытащить его в Карелию на рыбную и грибную охоту, с палаткой, котелками и

прочей обязательной экзотикой. Иногда ему это удавалось, хотя брат мой к рыбной ловле был равнодушен, а в грибах не разбирался.

Но особенно следует выделить последнего его друга — капитана торгового флота Дмитрия Чомакова. Это был очень порядочный, умный, образованный и начитанный человек. К сожалению, он жил в Москве, по-моему, был уже на пенсии, но в Ленинград приезжал часто и не пропускал случая навестить Юрия Григорьевича, которого очень любил и уважал и как друга и как писателя. Они были способны говорить часами (хотя по характеру брат мой был человеком сдержанным, скорее даже замкнутым), их было не растащить, настолько им было интересно друг с другом. Ну, вот, четверо все-таки было, и слава Богу! Наверняка были и тайные его доброжелатели, во всяком случае, из числа его читателей, а это уже немало. Могла, конечно, кого-то и подзабыть... в таком случае да простят они меня!

А с другими, если и бывали какие-то отношения, то так, чисто поверхностно, может быть неплохие, но не более. Возможно, сыграло роль и то, что Юрий Григорьевич вел довольно отшельнический образ жизни, нигде не тусовался (как теперь говорят), не выпивал, хотя гости у нас бывали часто, и хозяином он был радушным, но делать себе рекламу он и не умел, и не хотел. Он просто работал. Единственно, где он часто бывал, это на встречах с читателями, и еще вел литературное объединение в Доме Ученых, там его очень ценили. И, конечно, в библиотеках... библиотеках любых — от самых крупных до самых маленьких, везде находя для себя что-то интересное, а также в книжных лавках, у букинистов, везде где только можно было наткнуться на книги, это было его царство, и он любил там бывать. Библиотекари и продавцы в книжных магазинах относились к нему с огромной симпатией и уважением, всегда старались ему угодить, оставляя для него лучшие книги.

По-моему, легче сочинить роман, чем описать реальную жизнь, хотя я помню достаточно, грех жаловаться. Но достаточно для чего? Для романа? О да! Моих воспоминаний хватило бы на десять романов, но как опишешь самое дорогое, самое важное... боюсь, это получится лишь слабый оттиск настоящего.

Но вот что хочется сказать: если бы Юрий Григорьевич дожил до наших дней и увидел бы и услышал бы все это льющееся с экранов телевизора похабство (в виде нашего шоу-бизнеса, садистских сцен или гнусных, провокационных воплей, которые просто стыдно слушать) и, что самое ужасное, эту поголовную продажность, эту бессовестную власть капитала, которая так же омерзительна, как и власть пролетариата, — он бы страдал безмерно, ибо никогда не был человеком равнодушным. У него, несмотря на тяжелую болезнь сердца, было много планов, и он бы еще мог создать очень многое, но, возможно, Господь пожалел его, забрав раньше времени...

Непонятно мне и отношение к его творчеству нашей интеллектуальной элиты. Неужели никому из них никогда не попадались его книги? Или теперь привыкли ценить только то, что может способствовать личному успеху? Или только то, о чем уже говорят, пишут? И что, следовательно, может вовлечь их в эту волну успеха? На канале «Культура» периодически проходят передачи на тему литературного творчества, прошлого и настоящего, в частности, о лучших писателях 20 века. И что же? И тут та же картина, никто из них ни разу даже не заикнется о Слепухине! Хотя тут же с воодушевлением превозносят второстепенных авторов, которые «на слуху». Как это понять? Или все тот же «заговор молчания», или полное равнодушие к литературе, или нежелание разбираться в сложных вопросах нашей истории? Слава Богу, что сейчас стараниями многих людей эта стена молчания стала разрушаться.

Юрий Григорьевич прошел свой путь достойно, сделал, что смог, его любили читатели, и в семье его понимали, и любили, как дай Бог каждому... следует добавить только одно — спасибо Господу за все!

Всеволожск, 2012 г.

